

**СТАРЫЙ
РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ**



Николай Дмитриевич Ахшарумов

Концы в воду

Ахшарумов всегда тяготел к изображению необычных людей, парадоксальных ситуаций и экстраординарных поступков. Он стремился запечатлеть противоречивость человеческой психики, ее «тайники» и «глубины», что закономерно влекло его к притче, фантастике и детективу. Но наиболее близок к этому жанру один из лучших его романов – «Концы в воду», – впервые опубликованный в 1872 году в «Отечественных записках» (№ 10-12). Умело выстроенный детективный сюжет сочетается здесь (как и в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского, которому Ахшарумов был во многом близок по направлению своего творчества) с глубоким проникновением в психологию преступника. Роман этот в какой-то степени предвосхищает композицию современного западного «триллера», поскольку здесь преступление расследует не сторонний наблюдатель, а человек, вовлеченный в действие и лично причастный к происходящему. Любопытный прием использован в заключительной части повествования – изложение событий с точки зрения двух основных персонажей. Благодаря всему этому роман Ахшарумова, написанный более ста лет назад, и сегодня читается с неослабевающим интересом.

Содержание

ЧАСТЬ I. Кузина Оля	0006
I	0006
II	0018
III	0028
IV	0040
V	0046
VI	0058
VII	0069
ЧАСТЬ II. Жюли	0102
I	0102
II	0119
III	0132
IV	0146
VI	0169
VII	0173
VIII	0179
IX	0187
X	0193
XI	0216
XII	0227
XIII	0253
ЧАСТЬ III. Каменный гость	0258
I	0258
II	0278
III	0290

IV	.0306
V	.0325
VI	.0341
VII	.0345
VIII	.0349
IX	.0356
X	.0363
XI	.0366
XII	.0370
XIII	.0391
XIV	.0401
XV	.0406
XV	.0411

**Николай Дмитриевич
Ахшарумов**

Концы в воду

ЧАСТЬ I. Кузина Оля

I

В начале осени я ехал к кузине Ольге в Р** через Москву и занял место в простом вагоне 2-го класса. Спальных я не люблю за их духоту и за то, что в них тесно от слишком большого числа удобств, ни одно из которых не отличается чистотой и ни за одно из которых нельзя поручиться, что оно вдруг не будет обращено в постель. К тому же, я сплю недурно и сидя; но я не терплю тесноты, а на этот раз, как нарочно, весь 2-й класс был битком набит. Мало того, в вагоне, как раз у меня за спиной, расположилось семейство с грудным ребенком, который ревел весь день на руках у матери. К ночи, особенно когда затворили окна, соседство это стало невыносимо, и я решился перейти в 1-й класс, что оказалось, однако, не так легко. После трех неудачных попыток найти мне место кондуктор, видимо затрудненный, привел меня в семейное отделение, почти совершенно пустое, и, перешеп-

нувшись с дамою, которая там сидела одна, стал зажигать фонарь.

– Не нужно, – запротестовала она.

Но блюститель порядка не счел себя вправе оставить нас без огня, и фонарь был зажжен, причем я заметил, что дама спустила вуаль... Через минуту раздался сигнальный свисток, и мы помчались. Угадывая по разным приметам, что путешественница до моего прихода лежала, я извинился в том, что ее потревожил. Она перебила сухой и короткой просьбою не стесняться, что я и исполнил очень охотно, вытянув ноги на одно из порожних мест против меня. Она отвернулась. Тусклый свет фонаря обрисовал в углу темную закутанную фигуру; ни ног, ни рук, ни лица ее не было видно, и разговор, судя по тону ее ответа, казался мне невозможным. А между тем, что-то неуловимое обличало в ней молодую женщину.

С минуту я машинально смотрел на нее, но мало-помалу внимание ослабело, и мысли мои улетели далеко вперед. Я думал о том, как встретит меня кузина, которую я не видел пять лет. Она без меня вышла замуж и,

как я после узнал, очень несчастливо. В последнем письме она извещала меня коротко, что уезжает в Р** к старухе-матери и, вероятно, останется там навсегда, потому что судьба поступила с ней очень жестоко. Об остальном она упоминала темно и в самых общих словах, по тону которых однако я мог угадать, что она все еще любит мужа и что ей было больно его покинуть. С мужем ее я был знаком со школьной скамьи, но это был человек меньше всего способный мне объяснить случившееся: некто Бодягин – барич с большими претензиями, но с сильно расстроенным состоянием и испорченною карьерою, служивший сначала в гвардии, в кавалерийском полку, потом пустившийся в спекуляции, игрок, волокита и мот, человек с бешеным темпераментом и больною печенью, мелочный, ограниченный и сухой. По возвращении в Петербург я не застал его там, – он был в отлучке, а из родни никто не хотел или не мог объяснить мне истинную причину его разлада с Ольгой. Я узнал только, что мне было уже отчасти известно, – что у них нет детей, что Ольга часто хворала и что они уже года три

живут врозь. А впрочем, ни одного упрека против нее, что для меня равнялось полному ее оправданию... Бедная Ольга! Она как будто предчувствовала, что ей не суждено узнать настоящего счастья, – так робко она всегда смотрела в будущее и так недоверчиво говорила о нем. Больно теперь вспоминать, но как-то невольно приходят на память все наши несчетные толки об этом будущем, толки и споры, в которых, казалось, было так мало личного, а между тем каждый, высказывая свой взгляд на жизнь, имел незримую мерку самого себя. За ширмой спокойной беседы о разных серьезных вещах шла маленькая игра личных надежд и расчетов, в которой карты, хотя по правилу и закрытые, видны были часто насквозь. Ольга была почти красавица и, как водится в таком случае, я был одно время сильно в нее влюблен. Она оставалась всегда спокойна, а между тем, странно сказать, вся действительная атака шла с ее стороны, и мне приходилось только обороняться. Слово «атака», конечно, двусмысленно, но я не понимаю под ним ничего завоевательного. У Ольги не было ни на грош кокет-

ства, то есть умышленного. Это было простое, честное существо. В жизнь свою я не видел женщины менее занятой собою и меньше аффектированной. Но она надеялась искренно, что отношения наши, несмотря на родство, могут со временем измениться, и вся ее маленькая игра со мною клонилась к этому. Как женщина и, вдобавок, застенчивая, она, разумеется, не вела ее прямо. Были уловки и хитрости, и много прозрачных намеков на наше личное дело в форме спокойного разговора о браке и семейной жизни. Признаюсь, я не колебался, и перспектива тихого счастья с Ольгой сильно меня подкупала. Но я был беден и вел цыганскую жизнь без всяких определенных надежд впереди, без всякой точки опоры в обществе. У ней не было тоже ни гроша. При этих условиях «тихое счастье» было, конечно, сомнительно. От него сильно пахивало ярмом семьянина-труженика и теснотой мещанской, пошленькой обстановки, природное отвращение от которых, вместе с невозмутимым взором Ольги и спокойным тоном ее речей, окатывали мою горячку такой холодной струей, что она скоро остыла.

Вот тема, вокруг которой плелись узоры тысячи самых дружеских и, несмотря на наши ребяческие уловки, глубоко искренних объяснений. Они не привели нас с Ольгой ни к чему положительному, но в результате связали таким хорошим, теплым и прочным чувством, какое редко бывает плодом одинаково продолжительной связи другого рода. Где нет в основе сближения, страстной привязанности, а между тем обладание застраховано неизменно в одних руках, там люди становятся сыты друг другом во всевозможном смысле, и нет равнодушия более полного, как то, которое всякий из нас, конечно, не раз угадывал между людьми, связанными обетом вечной любви.

Ольге всегда очень не нравилось, когда ей указывал на развязку подобного рода.

– Пустяки! – возражала она нахмурясь. – Большая часть мужей и жен любят друг друга искренно, хотя их любовь и не выказывается романтическими восторгами. Это чувство обыкновенное, и оно удовлетворяется обыкновенною меркою, но ты, как идеалист, ненавидишь обыкновенное, и эта ненависть за-

ставляет тебя клеветать...

Тут была, как и во всех речах Ольги, своя доля правды, но она ошиблась в том, что корень противоречия, нас разделявшего, таился совсем не в наших характерах. Он был гораздо проще и, так сказать, фатальнее. Это была обыкновенная разница девичьего взгляда на брак со взглядом таких холостяков и цыган, как я. Для девушек это, с редкими исключениями, первый серьезный шаг в жизни, и потому они, естественно, боятся с ним запоздать; а для нас это часто бывает последний. Понятно, что мы без особых причин не желаем спешить. К тому же, в кругу людей нашего класса, живущих своим трудом, вся тягость бремени падает на мужа; а девушка, если она не героиня, раз ставши женою, считает свой подвиг уже оконченным и смотрит на все остальное, как на спуск под гору, не требующий уже усилия, а только маленькой осторожности, чтоб не свихнуться. И это я тоже говорил Ольге, что ее приводило всегда в ужасный гнев, и она начинала ругать мужчин... Милая Оля!... Как теперь вижу тебя в знакомой комнате, в уголку, на диване, всю

вспыхнувшую и в сотый раз открывающую огонь по неприятелю. Вижу твой легкий стан, круглое личико и ясные голубые глаза, сверкающие укором...

Поезд мчался как вихрь среди ночной тишины и глубокой тьмы. Убаюканный мирным стуком и непрерывным рядом мягких толчков, я начинал дремать. Нити воспоминаний путались, и мысли сменялись образами. Передо мной была Ольга, грустная и безмолвная. На исхудавшем, но хорошо знакомом лице ее я читал укор. Она как будто хотела сказать: «Зачем ты покинул меня? Зачем не подал руки, когда я протягивала тебе свою так искренно? Вот я теперь далеко от тебя и несчастна. А ты? По-прежнему одинок – бездомный и бесприютный скиталец между людьми!...» Сердце мое щемило... Вдруг из-за бледного призрака Ольги выдвинулось и

обрисовалось явственно чье-то чужое лицо. Это было лицо молодой и довольно красивой женщины, но только одно лицо; остальная часть головы и плеча, закутанные во что-то темное, тонули в потемках. Лицо было мягко освещено, и смятые пряди, выбиваясь из-

под покрывала, сообщали ему какой-то усталый вид; а между тем в чертах не заметно было усталости и выражение их показалось мне далеко не мягким. Особенно поразил меня взгляд: бесцельный, но пристальный и чутко настороженный навстречу чему-то незримо... Впечатление было так резко, что я очнулся. Передо мною, наискосок, прижавшись в углу, сидела моя одинокая спутница, которой, должно быть, душно стало под вуалью, и она ее подняла. Я сидел или, вернее сказать, полулежал в тени, а потому ей трудно было заметить, что глаза у меня только прищурены; впрочем, она и не смотрела в мой угол. Вглядываясь в ее лицо, я замечал на нем минутами что-то тревожное и озабоченное. Она как будто работала мысленно над какой-то мудреной задачей, и эта работа была непривычна для нее, раздражала и удивляла ее... О чем она думает? Отчего не спит?...

Свисток и протяжный вой... Мы едем тише... станция... Я привстал и выглянул... Сквозь запотелые стекла мелькнули огни, платформа и несколько темных фигур, снующих взад и вперед. Пассажиров нет... Через

минуту мы снова тронулись. Я повернулся лицом к стене, заснул и проспал несколько станций. Я проснулся уже под утро, но на дворе было совершенно темно... Первое, что я чувствовал, это запах сигары. Несколько удивленный, я оглянулся и увидел, что спутница моя курит. Судя по всему, она не спала, и на лице у нее на этот раз заметна была усталость.

– Вам не спится? – рискнул я.

– Нет. Я вам завидую... Я не могу спать в вагоне.

Сигара и храбрый тон ее ответа рассеяли мои прежние опасения насчет того, что я ее стесняю. Какая бы ни была причина, заставившая ее на первых порах опустить вуаль, но робость была, очевидно, тут не при чем. Она теперь смотрела мне прямо в глаза и не думала опускать свои, когда я вглядывался в ее лицо. Чтоб окончательно утвердить между нами дорожный принцип свободы, братства и равенства, я достал сигару. Она сама предложила огня.

Минут через пять мы разговаривали без всяких стеснений, и я узнал, что она тоже

едет в Москву.

– У вас сигары однако лучше, – сказала она.

Я предложил ей. Она преспокойно выкинула свою в окно и взяла у меня. При этом я заметил у ней на пальце маленькое кольцо с рубином... В К**, когда стало уже светать, она выходила, причем опять опустила вуаль. Уходя, она обронила платок. Я поднял его и положил на место. Платок был надушен и вышит по уголкам: на одном из них я заметил корону и вензель: «Ю. Ш.»

Подъезжая к Москве, она объяснила мне, что там в первый раз, не знает гостиниц и боится попасть в такую, где неудобно; но она не сказала мне, что именно для нее неудобно, и только в ответ на мои вопросы упомянула слегка, что она не выносит толпы и шума. Судя по общему впечатлению, это казалось довольно невероятно; однако уединенное место, которое она приискала, и дважды опущенная вуаль сбивали меня. «Кто это, – думал я, – и что у нее на уме?... Бежит от кого-нибудь или прячется?...» Не знаю, что именно меня подстегнуло, но мне не хотелось расстаться с нею так скоро. Я начал ей объяс-

нять, что сам не люблю гостиниц, и кончил тем, что предложил ехать вместе, искать мебелированные комнаты. Она посмотрела пристально мне в глаза, но не сказала ни слова. В Москве, когда мы остановились, она опять опустила вуаль. Я был уверен, что она тотчас уйдет, и хотел поклониться, но она обратилась ко мне совершенно спокойно:

– Чего же вы ждете? Ведь вы предлагали мне ехать вместе?... Вот мой багажный билет; ступайте, распорядитесь.

Через час мы были на Дмитровке в мебелированных комнатах и занимали две комнаты рядом.

Знакомство это окончилось так же странно, как началось. Она прожила возле меня сутки, и в течение этого времени мы виделись только раз. Весь день я провел в разъездах; да и она, помнится, исчезала куда-то. Вечером было еще не очень поздно, когда я вернулся в номер. Осматриваясь, я заметил, сквозь щель, в соседней комнате свет, вспомнил свою попутчицу и постучался к ней в двери. Она отворила без всякого затруднения, но вместо того, чтоб впустить, вышла сама... Здоровая статная молодая женщина, в черном шелковом платье, с короткою распашною кофточкою; на шее стоячий воротничок с голубым галстуком, руки и уши маленькие, в ушах золотые сережки. Русые с золотистым отсветом волосы причесаны гладко, глаза светло-карие; вообще, ближе к блондинке. Вглядываясь в лицо, я не нашел в нем и следа того, что так поразило меня спросонок. Оно было просто, спокойно и, я прибавил бы, мило, если бы скулы и подбородок резким контуром своим не портили его красоты. Ничего эксцентриче-

ского; скажу даже более, она показалась мне простоватой, но впечатление это исчезло, когда мы начали говорить. Голос у нее был нежный, походка плавная, манеры и тон речей обнаруживали большую привычку к обществу.

Мы говорили мало, то есть, собственно, говорил я, а она не давала себе труда поддерживать разговор и, опустившись на спинку кресел, молчала или вставляла изредка односложный ответ. Я 10

перепробовал несколько тем, но видя, что все они мало ее интересуют, начинал уже казаться в своей предприимчивости.

«Черт ее побери! – думал я. – Лучше оставить бы ее там у себя в покое да лечь спать...»

И в середине какого-то анекдота я потихоньку зевнул.

Она засмеялась.

– Знаете что? – сказала она. – Вы напрасно стараетесь меня занимать. С одной стороны, это трудно, потому что вы меня вовсе не знаете, а с другой, это лишнее. Я не требую с вас такой дорогой цены за дешевое удовольствие, которое я вам доставила.

Я просил ее объяснить, что она хочет сказать.

– Только то, – отвечала она, – что я не люблю принуждения. Вам было скучно, и вы от нечего делать захотели взглянуть на меня. Ну и смотрите, не утруждая себя напрасной любезностью. Смотрите, не торопясь; мне все равно – молчать там одной у себя или тут с вами; а когда спать захочется, я уйду... Дайте сигару.

Мы закурили, и мне почему-то вдруг стало весело. Пользуясь позволением, я смотрел на нее, не опуская глаз, и не заметил, чтоб это было ей неприятно или неловко. Напротив, судя по усмешке, игравшей у нее на губах, это ее забавляло, и она, вероятно, чтоб ободрить меня, отвечала мне тем же. Сперва мы упорно молчали, желая как бы отдохнуть от прежней натяжки, потом разговор возобновился у нас как-то без умысла, сам собой.

– Вы долго пробудете здесь? – спросил я.

– Нет, уезжаю завтра.

– Жаль!

– Чего жаль?

– Так, вы мне понравились.

– Давно ли?

– Сейчас.

– Физически или иначе?

– И так и иначе.

– Ну, если вы не лжете, то вот вам и тема для разговора. Рассказывайте, что вы во мне нашли? Да только без оговорок, чтоб не терять по-пустому время.

– С чего начать?

– Да все равно, начните хоть с физиологии: это яснее, и мне легче будет вас уличить, если вы станете врать.

– Хорошо, только возьмите, прошу вас, в соображение, что я не художник и не могу передать вам моих впечатлений в тонкости.

– Которой, вдобавок, и нет.

– Почему?

– Ну, полноте! Вы еще спрашиваете. Какие тут тонкости, когда на женщину смотрят так, как вы на меня сейчас смотрели.

– Надеюсь, что я не обидел вас?

– О, нет; что ж тут обидного? Это естественно, хотя и совсем не тонко. Вы все так смотрите, когда не имеете надобности обманывать или, пожалуй, обманываться насчет того, что

вам нравится в нас. Если женщина не урод, если она молода, здорова, то этого и довольно, чтобы она вам нравилась... Правда?

– Да, правда, – отвечал я, – но правда самого низкого сорта. На этот раз она немного обиделась.

– Я не видела высшей, – отвечала она, надувши губки, – и потому не верю в нее. Впрочем, для вас это все равно; продолжайте.

– После того, что сказано, – продолжал я, – и что я по совести не могу оспаривать, мне остается только прибавить, что не все женщины нравятся одинаково даже в живописном смысле. Есть разные типы и степени красоты. Есть, например, красота романтическая, тип хорошо известный, потому что им занимались поэты... Худоба, бледность, истома, мечтательный или тоскливый взгляд, говорящий о безнадежной страсти.

– А, знаю! – договорила она презрительно. – Это больничный род красоты?... Ну, это ко мне не относится. Я, слава Богу, совсем здорова.

– И есть красота другого рода: классическая...

– Что это такое «классическая»?

– Это тот тип красоты, высшие образцы которого воплощены в античных статуях. Тип ясный, спокойный, величественный...

– И флегматический?

– Ну, это едва ли.

– Однако... Я видела этих каменных женщин. Все они имеют вид сытый, откормленный и смотрят так, как будто бы им ничего на свете не нужно, даже и платья. Собственно, нельзя сказать, чтобы они смотрели, потому что у них нет зрачков.

Я улыбнулся.

– Ну, а вакханки? – сказал я. – Это тип неоспоримо страстный, а между тем это тоже античная красота.

– Вакханки? – повторила она, стараясь припомнить. – Ах, да, я видела. Это раздетые пьяные женщины, которые пляшут или валяются по полу с кубком в руках... Неужели вам это нравится?

– В своем роде – да.

– Странно!... Надеюсь, однако, что вы меня не причисляете...

– К вакханкам? О, нет. У вас красота совер-

шенно другого рода.

– А! Наконец-то... Ну, ну, говорите, какая?

– Это, если позволите так выразиться, красота затаенной страсти.

– Что? – сказала она, опуская глаза. – Я вас не понимаю.

– Будто бы?

– Право.

Я смотрел ей в лицо, и мне невольно припоминалось странное его выражение ночью, в вагоне, когда она вовсе не думала обо мне. – Слушайте, – продолжал я, оцупью связывая свои рассеянные догадки, – красота эта с виду скромна и не бросается в глаза никакими эффектами. В покое вы можете ошибиться, приняв ее за выражение мира и тишины. Перед вами безгрешная дева с невозмущенной еще душой или счастливая мать семейства, та, что в домашнем быту дети и няньки зовут «мамашей». А между тем у этой «мамаши» в сердце огонь неутолимых желаний, в жилах клокочет растопленный металл. И если от этого внутреннего огня что-нибудь проскальзывает наружу, а иногда это невольно случается, то вот это и будет тот род красоты, о ко-

тором я говорю.

Сухая усмешка зарницей играла у ней на губах. Медленно выпрямляясь, она подняла на меня свои бронзовые зрачки и вдруг покраснела.

– Кажется, я угадал?

– Нет... а впрочем – не знаю... может быть... Знаете, тайное у нас, женщин, трудно угадывается, и особенно вчуже, со стороны. Легко ошибиться.

– Конечно... Но будьте искренны; между нами, мы ведь не знаем друг друга и по всей вероятности никогда больше не встретимся, признайтесь, ведь я не ошибся?

Она потянулась, как кошка, лениво, но с затаенною силою в мягких членах и с хищной негой телодвижения. В полузакрытом взоре ее, в усмешке полуоткрытых губ светилось именно то, что я угадал... Другого ответа не нужно было, да она и не думала отвечать. Все флегматическое сбежало с нее как с гуся вода. Передо мною была опять та самая женщина, которая не могла уснуть в вагоне и три раза опускала вуаль.

– Пора, – сказала она, наконец очнув-

шись. – Прощайте. Но я был слишком молод и слишком мало расположен к советам стоической мудрости. Я взял ее за руку и, удерживая на месте, шепнул несколько слов, которые не имели бы смысла, если бы я их повторил теперь хладнокровно. Она не отнимала руки, а слушала молча и пристально всматривалась в мои глаза. Раза два при этом сухая усмешка мелькнула у неё на губах, и раз она покраснела... С минуту мне показалось, как будто она колеблется, но вдруг она вырвала руку, встала и, потрянув головой, оттолкнула кресло.

– Нет, – отвечала она, смеясь, – это вздор!... Впрочем, я не имею нужды играть тут с вами комедию. Скажу вам просто, я бы осталась; да и не я одна, большая часть из ваших безгрешных дев и скромных «мамаш» остались бы, если бы не боялись цены, которую женщины платят за этого рода вещи... Знаете эту французскую драму, где королева со своими сестрами кутят по ночам, в какой-то башне, а к утру, чтобы отделаться от нескромных любовников, топят их?... Так вот, если бы можно и с вами так... Но это все пустяки, я не французская королева и, одним словом, прощайте! На

другой день, поутру, я только что окончил письма и торопился идти. На уме у меня лежали дела нашей торговой компании, с которыми связаны были случайно и мои собственные... Слуга, молодой, глуповатый парень с салфеткой в руках, остановил меня в коридоре.

– Хозяйка велела спросить: вы долго изволите оставаться?

– Не знаю... А что?

– Вид надо бы прописать.

– Ну, хорошо, напomini вечером. Это было перед соседнею дверью.

– А что, № 3-й дома? – спросил я, вспомнив мою попутчицу. Он посмотрел на меня недоверчиво и с какой-то глупой усмешкой, словно не допуская, чтобы «номер» мог быть не дома.

– Никак нет-с, уехали, – отвечал он.

На уме у меня вертелось спросить: «Кто такая?» Но вопрос этот с отъездом терял почти весь интерес, и я его отложил до вечера, а к вечеру любопытство мое окончательно выдохлось. «Черт с нею! – решил я. – Кто бы она ни была, какое мне дело?»

III

Дела задержали меня в Москве дольше, чем я рассчитывал, так что я прибыл в Р** только 10-го сентября. Ольга, увидев меня в окно, выбежала навстречу как сумасшедшая, вся раскрасневшись, в слезах и в усмешках, и мы обнялись публично, на улице. В эту минуту я мог заметить только, что она похудела, но потом, когда оживление встречи прошло и было время взглядеться внимательнее, я убедился, что ей недешево обошлись эти пять лет. Бедняжка очень переменилась: прежний здоровый цвет лица и круглота очертаний исчезли, голос утратил свои музыкальные ноты; в усмешке, в движениях стало заметно что-то нервное. Она сама знала это, и несколько раз я заметил украдкой брошенный взор ее, который как будто спешил и вместе боялся прочесть у меня на лице грустный итог моих впечатлений. При матери я не решился ее расспрашивать; мы поняли в этом друг друга без слов и молчали о самом главном. Но после обеда, когда Анна Антоновна ушла к себе и мы с Ольгой уселись по-старо-

му, в уголок, – всякое принуждение было брошено. По глубоко отрадному вздоху ее я мог легко угадать, с каким нетерпением она ожидала этой минуты.

– Пять лет!... – говорила она, сжимая мне руки. – И ни одного человека возле, чтоб душу отвести!

Она, очевидно, щадила мать, но я убедился скоро, что ей и со мной нелегко быть искреннею. Она сбивалась, не договаривала, стараясь из всех сил смягчить грубую истину; путалась в этих усилиях как в сетях и часто, запнувшись на полуслове, вдруг умолкала, как бы сама испуганная тем, что готова была сказать. Несмотря на все эти задержки кое-что, однако же, выяснилось. Она успела меня убедить, например, что муж до брака был страстно в нее влюблен. С этой целью она читала мне письма, которые были довольно глупы и местами даже безграмотны, но неоспоримо страстны...

«Мой ангел! – писал он к Ольге еще женихом. – Моя божественная, безумно любимая Олечка! Я в отчаянии, узнав из твоего письма, что ты вернешься лишь в субботу или в вос-

кресенье. Почему так долго? – И далее. – Без тебя ни минуты не спокоен. Вижу тебя во сне и наяву... не могу дождаться нашего свидания. Неправда ли, ты прижмешь меня нежно к своей груди? А я буду к тебе так нежен, что ты от блаженства сама себя не будешь помнить... Как рассказать мою невыразимую любовь к тебе, и что ты теперь навеки моя, моя Олечка! Моя женушка!» и т. д.

Пыл этот, однако, остыл после свадьбы скорее, чем можно было бы предположить, так скоро, что бедная Ольга, видимо, совестилась даже определить мне время – когда это случилось. «Через год?» – «Ах нет ранее...» – «Через полгода?» Она потупилась с таким видом, что я не решился даже и спрашивать далее, чтоб не заставить ее краснеть.

– В его оправдание, – заговорила она, мину-ту спустя, – я должна сказать, что его любовь все же была бескорытна... Он женился не по расчету.

Я посмотрел ей в глаза с удивлением, она опустила их и вздохнула.

– Подумай только, мой друг, что мог он искать во мне, кроме меня самой? Ни связей, ни

состояния, а насчет роли, которую я могла играть в его кругу, ты знаешь сам: способна ли я на что-нибудь подобное... Неловкая, неумелая... В жизнь свою не помню еще ни разу, чтобы мне удалось произвести эффект.

Я колебался... Жалко было отнять у несчастной ее последние иллюзии, а между тем они мешали ей жить.

– Ольга, – отвечал я, скрепя сердце, – я знаю немножко Павла Ивановича, и ты не рассказывай мне о нем сказок. Павел Иванович влюбчив до гадости – это правда, но влюбчивость и любовь – две разные вещи... Ничего не искал в тебе кроме тебя самой?... Да, пожалуй, если ты согласишься, что в тебе нет и не было ничего, кроме женской твоей красоты.

– Какая уж красота?

– Не говори пустяков, пожалуйста, и не прикидывайся, что ты меня не понимаешь. Я у тебя серьезно спрашиваю: разве есть какая-нибудь возможность для женщины, которая уважает себя хоть на грош, смириться с такой унижительной оценкой?... Молчишь?... Хоть постыдилась бы!... Ольга! Я, право, тебя

не узнаю... Куда ты девала свою девичью гордость, свои убеждения? Или это так, просто – бабство, и ты кривишь душой в его пользу? Если так, то мне незачем было и ездить сюда!

– Незачем? – повторила она.

– Не обижайся... Я говорю так грубо потому, что иначе с тобой ничего не поделаешь. Тебя надобно пристыдить хорошенько, чтоб ты опомнилась и убедилась в своей ошибке. Без этого нет никакой надежды ее исправить.

– Мое несчастье невозможно исправить.

– Да, если ты будешь ждать, что он разнежится и вернется. Признавайся, ты этого только и ждешь?

– Нет.

– Ольга, ты или лжешь, или, чтобы спасти свое самолюбие, играешь словами... Ну, я, пожалуй, выразился не так; пожалуй, не ждешь в собственном смысле, но все же желаешь?

Молчание... Мы сидели с минуту потупясь; она вертела в руках конец платка, наматывая его бахрому на пальцы. Я начинал уже терять надежду узнать что-нибудь далее.

– Что же мне делать, – произнесла она наконец чуть слышно, – если я еще люблю его?

Это поставило меня совершенно в тупик... Что – в самом деле? Что делать, если она его любит еще?... Я однако же не хотел дать ей заметить, до какой степени этот ответ обезоружил меня.

– Надо понять, мой друг, что это ошибка, – отвечал я нравоучительным тоном.

– Ошибка – что?

– Твоя воображаемая любовь к Павлу Ивановичу. Ты любишь собственно не его, а свою фантазию. Тебе представляется человек совсем не тот, не такой, какой он действительно есть.

– Отчего не такой? Почему ты знаешь?

– Я знаю его.

– Ну, а если ты ошибаешься?... Ведь это возможно? Он, может быть, совсем не так виноват. Я, может быть, сама виновата?

– В чем?

Она молчала. Слезы катились у ней по лицу... Мне стало досадно и жалко.

– В чем же ты виновата, Оля, милая? – спросил я, взяв ее за руку.

Глубокий вздох. Она подняла на меня заплаканные глаза и тотчас опять опустила

ИХ...

– Я, может быть, тоже была не та... не такая, как он ожидал. У меня здоровье слабое...

– Какой вздор!

– Да, мне доктора всегда говорили, что я малокровна. Я часто хвораю, бываю не в духе... расстроена. А он не любит этого, ему противно возле больной.

– Животное!

– Ах, нет, Сережа, ты не брани его. Он, право, совсем не такой... Это я уж такая плохая.

– Да отчего же так, Олечка?

– Так... Вот это тоже несчастье, – голос ее задрожал. – Нет детей!

– Разве он жаловался тебе на это?

– Нет.

– С чего же это тебе приходит в голову?

– Мне намекали об этом другие.

– Кто?

– Так... Один человек, который был здесь проездом, как раз перед тобою.

– Да кто такой? Она замялась.

– Я, собственно, не имею права, потому что я слово дала; ну, да ты ведь не выдашь меня... Одна из его кузин, баронесса Фогель.

– Фогель?... Какая Фогель?... Я что-то не помню.

– Это одна из Толбухиных.

– И Толбухиных не знаю.

– Да и я тоже не знаю, но слышала. Она живет в Петербурге, и я сама ее не видала прежде.

– Странно!

– Фогель, – повторила она машинально. – Марья Евстафьевна... Она возвращалась из Петербурга в Орел, в свое имение.

– Но с какой стати... она?

– Так, она слышала о моем несчастье и желала со мной познакомиться. Только это секрет... Такая добрая!... Приняла во мне такое участие!

– Зачем же секрет-то? И от кого?

– От Павла Ивановича. Она боится, чтоб он не узнал через мамашу или кого-нибудь из знакомых, здесь в Р**, что она заезжала ко мне, тем более, что это ей не совсем по пути...

– Постой, как же так? Разве она не была тут у вас?

– Нет.

– Где же вы виделись?

– У нее. Она останавливалась на постоялом дворе и присылала оттуда за мною.

– Тетушка, стало быть, ничего не знает?

Она кивнула мне головой утвердительно и сделала знак, чтоб я говорил потише. Мы замолчали.

– Знаешь что, Ольга? – сказал я, подумав. – Мне это не нравится.

– Отчего?

Но я не успел ей сказать, отчего, вошла старушка... Подали самовар...

Приезд мой, хотя и ожидаемый, по добрым русским обычаям поставил весь дом вверх дном. Беготня, хлопоты; горничные являлись и исчезали в дверях, как тени; тетушка вскакивала и убегала ежеминутно со связкой ключей; на кухне готовили ужин, и стук поварского ножа доносился через отворенное окошко в столовую. Комната для меня была давно приготовлена: шторы, гардины, ковры и коврики, ширмы и умывальник, цветы на окошках – нужное и ненужное, все было тут расставлено, постлано и развешено заботливою рукой, и все казалось им мало. Водили смотреть, выпытывали, не позабыто ли что-

нибудь, к чему я привык; потом увели опять в столовую и посадили за ужин, и после ужина, отпустив уже окончательно, подсылали еще людей с вопросами, которые заставляли меня хохотать: «Не прислать ли еще одеяла на ноги? Не попали ли в комнату мухи? Не нужен ли абажур на свечку?» и проч.

Утром на другой день, в саду, Ольга наконец собралась с духом и рассказала мне связно историю своего разрыва с мужем. Никаких явных поводов к ссоре и тем меньше формальных ссор между ними не было, но было много досадных маленьких столкновений, тайных неудовольствий и тихих жалоб с ее стороны, сухих, обидных упреков, насмешек и замечаний – с его. Он начал сперва избегать ее, потом совершенно бросил, и они не видались по целым дням: выезжали, обедали даже врозь. В конце второго года она не вынесла этой жизни, и после короткого объяснения, в котором высказала все, что у нее наболело на сердце, они расстались. Но еще долго после она жила в Петербурге, в семействе тетки, той самой, которая выдала ее замуж. В семействе этом любили Ольгу и всеми силами удерживали.

живали от переезда в Р**. Но шумная жизнь в большом кругу и на глазах у стольких свидетелей ее разоренного счастья стала для нее нестерпима. С мужем после разъезда она почти не виделась, но вела и до сих пор ведет еще переписку...

О чем – это она затруднялась сперва объяснить, но наконец призналась мне по секрету, что, между прочим, речь была о разводе.

– Кто предлагал?

– Он предлагал.

– Что ж ты?

Лицо ее вспыхнуло, и она начала говорить горячо, красноречиво против этой, как она называла, пустой формальности, которая не прибавляет почти ничего существенного к свободе людей, живущих врозь, а только ведет к скандалу. Она не хочет скандала и весьма основательно, потому что скандал в итоге всегда падает на женщину. Да и к чему? На что это им? Разве они мешают друг другу? Разве она не возвратила ему полной свободы, уехав сюда, за тысячу верст? И неужели он боится, что она явится к нему когда-нибудь с требованиями? Ей от него ничего не нужно,

ни гроша! Она готова дать в этом подписку, готова отречься формальным образом от всего, но требовать, чтобы она выпачкалась в грязи – это низко! Да, низко! Низко!... И она ни за что не согласится на это! Я принял это сначала за чистую монету и пытался ей возражать, защищая развод вообще, но она не слушала. Тогда я поставил вопрос иначе. Ей 25 лет, и в такие годы рано отказываться от всякой надежды. Как знать, что ее ожидает в будущем, и можно ли поручиться, что эта формальная связь, на которую она смотрит теперь так легко, не станет когда-нибудь у ней на пути преградой к счастью?

– Нет, я никогда не могу уже быть счастлива.

– Почему? Молчание...

– Ольга! Это неискренно! Посмотри-ка в глаза. Ну, так и есть. Ты со мною хитришь. Признайся, все, что ты сейчас говорила против развода, – дудки? Признайся, ты не желаешь развода только по той причине, что еще надеешься воротить потерянное?

Она не отвечала.

«Господи! Как она изменилась!... Это со-

всем другой человек! – думал я, посматривая на ее исхудалый стан и бледные, тонкие пальцы. – Тетушка может быть недаром твердит, что Ольга серьезно больна и что ее не следует вовлекать в слишком горячие споры».

IV

Погода стояла сухая, теплая, и мы каждый день уходили вдвоем куда-нибудь за город. В лесу пахло уж осенью, но в полях густые зеленые озими и трава, местами скошенная вторично, обманывали глаза. Кругом все так ясно и тихо. Летучая паутина носилась по воздуху длинными тонкими нитями; головки репейника, изгороди, кусты и даже земля местами затканы были как сетью их золотистой пряжею.

– Бабье лето! – сказал я. – Знаешь ли, отчего оно так названо?

– Оттого, что не настоящее, – отвечала Ольга. – Все, что фальшиво, призрачно и эфемерно, все это у вас – бабье.

Выходка эта, несмотря на ее горький тон, обрадовала меня. В ней слышалось что-то, на-

поминавшее прежнее Ольгу. Это был первый отклик ее на старый призыв, первая искра старого огонька, мелькнувшая мне из-под пепла. В надежде его раздуть я ухватился усердно за эту тему. Женщины, мол, виноваты сами, если о них сложился такой приговор. Бабство – типичная черта их характера. В них нет устоя. Они слишком дешево ценят себя. Они куражатся на словах, а на деле роняют себя самым постыдным образом и т. д.

– Это на мой счет?

– Да, если хочешь, пожалуй, на твой.

– Чем же я так уронила себя в твоих глазах?

Я отвечал, что для меня непонятно: как может женщина, однажды обманутая, не отвернуться сразу и навсегда от дома, из которого ей указали двери... Но не успел я выговорить, как уж раскаялся... Мы шли полями. Она отскочила от меня вдруг, как ужаленная, и, вся побледнев, прислонилась к изгороди. Упреки посыпались градом. Я злой человек!... У меня сердца нет! Я никогда ее не любил! Что она сделала мне, что я решился так ее оскорбить?... Кто выгнал ее из дома? Павел Ивано-

вич? Никогда в жизни!... Она покажет мне все его письма. Павел Иванович не думал ее выгонять... Она сама его бросила... Павел Иванович, напротив, жалеет...

– Кто тебе это сказал?

– Фогель сказала.

– Опять эта Фогель?

– А тебе что? Что ты имеешь против нее?...

Фогель совсем иначе со мной поступила, чем ты. Фогель, чужая, приняла во мне больше участия, чем ты когда-нибудь во всю жизнь принимал. Она не обижала меня насмешками не отнимала надежды, как ты!

Вспышка эта, однако, скоро прошла. Ольга простила меня от чистого сердца, и мы вернулись домой рука об руку, в самом дружеском разговоре; но я наконец убедился, что дело ее неисправимо. Это была одна из тех несчастных цепких натур, которые, раз отдавшись, не в силах уже вернуть своей свободы. Она была вся, всею душою в прошлом, и худо ли, хорошо ли, прошлое для нее было все. Она не видела, не желала помимо его ничего, не могла понять счастья иначе, как она его раз поняла.

«Не может забыть, – думал я. – Живет неизлечимой надеждой и с этой надеждой состарится или зачахнет! Стоит ли мучить ее еще? И не умнее ли, не человечнее ли оставить при ней ее иллюзии? Допустив даже, что их и можно отнять, – не была ли бы эта жестокость напрасная и ничем не оправданная?... Истина хороша только в той мере, в какой мы можем сносить ее безобразие. Но есть вещи до такой степени гнусные в их естественной наготе, что лучше навеки ослепнуть, чтоб их не видеть. Что может быть, например, унижительнее такого сердечного рабства, как рабство этой несчастной?... Два месяца прослужить живой игрушкой такому животному, как Бодягин, и за эти два месяца отдать все сокровища чистого сердца, весь жар молодой души, которая никогда не верила и не в силах поверить, чтоб сердце могло оставаться холодно, когда в крови горит кипучая молодая страсть!... Для нее невозможен был этот раздел, и потому она не могла представить себе его в другом. Целая – она и пошла вся, целиком, в обмен на его подонки [1]... Пусть же она никогда не узнает, во что оценил ее этот

эксперт. Пусть думает, что она сама виновата, что она совсем не такая, какая ему была нужна. И к чему ей знать, какая была ему нужна?... Его идеал?... О! Черт возьми! Если б на то пошло, я бы ему нашел идеал!»

Я был отпущен на ночь и лег уж в постель, но мне не спалось, как это случается иногда, когда раздраженная мысль не хочет окончить к ночи свою работу.

Едва за дверьми утихло, суетливая эта хозяйка, как мышь, которую на минуту спугнули, вернулась опять на то же место. Но она уж успела сделать дорогой находку, и очень курьезную... Идеал Павла Ивановича был ею найден и воплощен очень удачно в образе той милой барыни, охотницы до хороших сигар, которая так простодушно жалела, что не может остаться со мною, потому что меня нельзя утопить поутру. Откровенно, и вместе с тем осторожно, что свидетельствует о некоторой привычке прятать концы. Как жаль, что я не узнал тогда ее имени. Не справился даже, вернулась ли в Петербург или поехала дальше? Может быть, она ехала тоже в Р** и находится теперь здесь? Может быть...

Я вдруг подскочил, наткнувшись нечаянно на весьма интересную гипотезу... А что если это Фогель? Та самая Фогель, что была здесь, у Ольги, как раз перед моим приездом, и прожила два дня невидимкой на постоялом дворе?... Кузина Бодягина – из Орла – была в Петербурге и заезжала в Р** на обратном пути. Приняла большое участие в Ольге и утешала ее, но в дом не явилась и взяла слово не разглашать о своем посещении... Какой, однако же, странный случай, если это она! Почему из тысячи ехавших вместе я должен был очутиться наедине именно с нею?... Причина, конечно, была. Она от кого-то пряталась, а мне было тесно во 2-м классе и захотелось спать... Стало быть, не совсем случайно... Но для чего ей было прятаться, если она отправлялась домой? Тут, в Р**, еще положим, так как ей это не по пути, но там, на московской дороге, за 500 верст от Р**? Я начал припоминать и вспомнил, как она опустила вуаль, когда я вошел, и потом еще раз, когда она выходила дорогой на станции. Оброненный платок тоже пришел мне на память и на платке вензель «Ю. III.» кажется? Да, «Ю. III.» Значит, не Фо-

гель... Странно! С чего такой вздор придет в голову? Дремота, соображения путаются, усталая мысль теряет нить связи... Я повернулся к стене и уснул.

V

После обеда, в сумерки, мы говорили с Ольгой о чем-то, помнится, о родне Бодягина, и она, заспорив, сослалась на Фогель.

– А что, Фогель курит? – спросил я, как-то совсем некстати.

– Да, курит.

– Сигары?

– Да... а ты почему знаешь?

– Я ничего не знаю, я так спросил.

Она была очень удивлена, да, признаюсь, и я тоже. Ничтожная вероятность ночной догадки вдруг выросла и получила довольно серьезный вес.

– С чего ты это спросил? – приставала Ольга. – Ты, верно, знаешь ее?

– Нет, – отвечал я, – не знаю. Но, может быть, мы встречались, не зная друг друга... Скажи, пожалуйста, что это за женщина?... Молодая?

– Да, моих лет.

– Брюнетка?

– Нет.

– Высокого роста?

– Не очень.

– Хороша собой? -Да.

– Худенькая?

– Нет, так себе, ничего... Но это все пустяки, а ты мне скажи, как ты угадал, что она курит сигары?

– Так... Она мне сегодня приснилась во сне.

– Не может быть!

– Право... Мне снилось, будто мы едем с нею к тебе, не зная друг друга, и будто мы в вагоне... Ночь, в отделении нашем горит фонарь, и я будто лежу, дремлю, а она сидит и курит.

– Как странно! Но почему ты узнал, что это она?

– Так, это вздор. Во сне ведь приходит в голову всякая чепуха. Я будто увидел у ней кольцо на руке и по кольцу узнал.

– Какое кольцо?

– Так, маленькое колечко с рубином.

– Ах, Господи! Да у нее как раз такое! Сере-

жа, знаешь, ведь это ужасно странно! Ведь это ты видел ее!

Я сам был почти уверен в этом, но боялся встревожить Ольгу, сказав ей всю правду, прежде чем успею добиться толком, зачем приезжала к ней эта барыня. А между тем ограничиться сказкою, которую я ей сплел, казалось мне тоже неосторожно, потому что иная сказка ложится на душу тяжелее правды. В нерешимости я избрал середину. Умалчивая о самом главном, то есть о подозрениях, которые возбудила во мне ее Фогель, я ей признался однако, что это был вовсе не сон, и что я точно встретил дорогой такую барыню.

– Но это была, наверно, она, – сказала Ольга.

– Может быть, – отвечал я смеясь, – но об заклад не побьюсь. Кольцо с рубином очень обыкновенная вещь; дама, курящая потихоньку сигары, тоже не редкость. А впрочем, она или не она, в обоих случаях нет ничего удивительного. В первом, по крайней мере, уже совсем ничего... Ехали в одно время, оба сюда к тебе, и приехали бы весьма вероятно вместе, если б дела не задержали меня в

Москве. А далее что же?... Ей совестно было курить в компании, и она за какой-нибудь лишний рубль отыскала себе пустое семейное отделение. Меня кондуктор не знал куда деть с моим билетом 1-го класса, и поместил туда же... Кстати, признаться тебе, она в ту пору произвела на меня впечатление. В ней было что-то такое оригинальное, странное, почти романтическое. Я думал невесть что, а На поверку вышла, увы, такая проза!... Орловская родственница, стремящаяся к кузине посплетничать!...

– С чего ты взял? – перебила Ольга смеясь, но, кажется, втайне немного обиженная. – Разве я тебе говорила что-нибудь, из чего ты имел бы право вывести, что мы тут сплетничали?

– Нет, но трудно себе представить другую цель. Посредницей между тобою и Павлом Ивановичем она не могла быть потому, что старалась скрыть от него это свидание. Особное участие к тебе тоже едва ли могло ее побудить, потому что она лично не знала тебя... Что ж остается?... Я, право, не понимаю.

– . Разве нельзя принимать участие за гла-

за? – спросила Ольга. – Она обо мне много слышала.

– От кого?

– Да хотя бы от Павла Ивановича!

– Хм.

Ольга нахохлилась.

– Не знаю, что ты хочешь сказать... – начала она и, не кончив, остановилась сконфуженная.

– Я ничего не хочу сказать, и ты на меня не сердись, а лучше уж, если хочешь быть совершенно искренна, то расскажи-ка просто, что у вас тут с нею было?

Она потупилась.

– Вижу, что ты не доверяешь мне.

– Ах, нет!... Ты не думай этого...

– Однако, что-нибудь было, чего ты не хочешь сказать... Бьюсь об заклад, например, что у вас была речь о разводе... Была, конечно, я вижу уже по глазам.

– Ну да, была, сначала... Бедная Марья Евстафьевна сама в разводе, и потому с ее стороны естественно было упомянуть об этом.

– Что же, она советовала тебе решиться на это?

– Нет... впрочем, да, сначала, пока она не узнала, как я на это смотрю. Ей это казалось практичнее, с ее точки зрения, – она очень практичная... Но потом она согласилась со мной.

– Как же это у вас с нею было?... Где?... Расскажи уж, пожалуйста, все.

– Да так... Тут есть, недалеко от станции, постоянный дом... Я не знала прежде. Только вот раз как-то стою у окна и жду тебя. Смотрю, вдруг мальчик как из земли вырос – стоит совсем возле и смотрит прямо в окно на меня. С чего я испугалась, понять не могу, только меня вдруг всю так и бросило в холод. Когда это прошло, я спросила: чего ему?... Гляжу, он протягивает записку. Записка была адресована мне, но состояла вся из трех строк: «Сейчас приехала, нездорова. Не беспокойте мамашу, придите запросто, посланный вас проведет к вашей кухне, Мария Фогель». В записке была ее визитная карточка. Имя немного смутило меня; я не могла припомнить: у Павла Ивановича такая куча родни. Потом оказалось, что это одна из Толбухиных. Я, разумеется, тотчас пошла, и мы свиделись у нее, в постоянном до-

ме. Она мне сразу понравилась, такая милая! Но в этот день я оставалась у нее недолго из страха, чтобы маман не хватилась. Зато на другой поутру, сказав маман, что еду в Солотчинский, я вместо того просидела у Фогель до вечера... В тот же день, ночью, она уехала.

– О чем же у вас была речь?

– Да больше все обо мне и о моем положении. Впрочем, она говорила и о себе. Жизнь ее с мужем была ужасная. Муж приводил открыто любовниц к ней в дом. Конечно, она не вытерпела и решилась на все. На ее месте я тоже бы сделала... Она ужасно дурного мнения о мужчинах.

– А ты?

– Ну, да ты знаешь, и я тоже. Мы спорили с ней о Павле Ивановиче. Она обвиняла его кругом.

– А ты?

– Я, разумеется, не могла оправдать его совершенно.

– Однако, оправдывала?

– Да, так, немножко.

– Что же, она согласилась с тобой?

– Не совсем. Но она допускает, что у него

недурное сердце. Он ей, например, признавался, что ему жалко меня и что он за меня боится. «У нее, – говорит, – бедовый характер, и я боюсь, чтобы она с этим характером не додумалась там одна до какого-нибудь отчаянного дурачества».

– Какого же это дурачества?

– Не знаю. Фогель мне глухо об этом упомянула, и я тебе передаю не подлинные ее слова, а так только, около... Она вообще больше спрашивала... Я читала ей письма мужа, и мы разбирали их вместе, чтобы решить, есть ли надежда.

– Что же, она находит, что есть?

– Да, впрочем, она не утверждала этого прямо, но я догадываюсь. Ты понимаешь, мы только что познакомились и не могли говорить совершенно открыто. Она, как кажется, не хотела сказать мне всего из страха, чтоб я не проболталась в письмах. Я тоже не могла ей признаться прямо в иных вещах, потому что мне совестно было.

– Однако, договорились же до чего-нибудь существенного?

– Нет, не совсем. Но она обещала приехать

еще раз.

– А! Вот как!... Ну, признайся же мне откровенно, Оля, что она тебе советовала?

– Она?... Ничего особенного.

– Однако?

– Так, ничего. Она только спрашивала: буду ли я еще писать Павлу Ивановичу и как скоро?... Я говорю: «Не знаю». Тогда она заметила, что с мужчинами нельзя так, прямо, на чистоту, а надобно их изучить, чтобы узнать, чего им особенно хочется или чего они больше всего боятся.

– То есть затронуть их чувствительную струну?

– Да.

– И теребить их за эту струну?

Она засмеялась.

– Ну да, как же с вами иначе-то?

– Какую же струну она открыла у Павла Ивановича?

– Не знаю...

Она не говорила об этом прямо. Но, кажется, она думает, что не мешало бы его попугать.

– Чем?

– Я не знаю... Мы... не говорили об этом.

Она уперлась, и я никак не мог он нее добиться, что она затевает. В сумме, однако, все оказалось вздором: обыкновенная болтовня между женщинами о том, что у них лежит на сердце. Особенного участия даже не требуется, все можно себе объяснить любопытством и страстью мешаться в чужие дела. Вопрос, стало быть, только в одном: к чему все эти предосторожности, которые простирались очень далеко, если это была не на шутку моя попутчица?...

Тем временем, срок моего пребывания в Р** оканчивался, и мне было грустно видеть, с какой тоской вспоминала об этом Ольга.

Накануне отъезда, сидя со мной в сумерках после обеда, она сказала слова, которые меня глубоко тронули.

– Жаль, друг мой, – сказала она, прижимаясь лицом к моему плечу, – что мне не судьба была стать твоею! Как хорошо, как спокойно устроилась бы вся жизнь!

– Да, Оля, – отвечал я, – я сам горько об этом жалел, но судьба – слишком темный мотив, чтоб им объяснять причины, нас разлу-

чившие. Они были гораздо яснее, и ты их знаешь.

– Что знаю? Вздор-то твой?... Будто бы я тебя не любила?

– Нет, Оля, это не вздор, и если ты прежде не понимала этого, то теперь должна бы понять. Есть бесконечная разница между тем чувством, которое ты имела ко мне, и другим, которое ты узнала после.

– Ах, да, – отвечала она, вздохнув, – конечно, но только разница эта вся в пользу первого. Верь мне, мой друг, то тихое чувство, которое влекло мое сердце к тебе, заключало в себе гораздо больше задатков счастья. Прежде я только угадывала это, словно чутьем, теперь убедилась собственным горьким опытом. На что нам огонь, который палит и ослепляет? Нам нужен свет и тихая, ровная теплота. А мне возле тебя всегда было так тепло! Так тепло!

Она заплакала, обнимая меня тихонько рукою за шею.

Я был в таком возбужденном, экзальтированном состоянии, что чуть не наделал дурачеств; чуть не сказал ей: «Оля! Чего же тебе

еще! Чего ты, ослепленная, тянешься так безумно на этот огонь, который тебя опалил? Пойми же, что он не даст тебе счастья. Пойми и отвернись от него раз и навсегда и останься тут, возле меня, где тебе так тепло...» Другими словами, я чуть не предложил ей немедленно развестись с Павлом Ивановичем, чтоб выйти потом за меня. Но я был проучен насчет этого рода миражей; благоразумие одержало верх над подогретым чувством, и дело окончилось тихим, дружеским поцелуем.

Перед отъездом я счел однако нелишним серьезно ее остеречь насчет этой загадочной родственницы и рассказал ей о вензеле носового платка и еще кое-что из моего дорожно-го приключения...

– Нельзя так доверять всякой встречной, – говорил я. – Почему ты знаешь, что у нее на уме и, наконец, кто она?... Может быть, вовсе не Фогель и не кузина Павла Ивановича.

– А кто же?

– Почему я знаю... Впрочем, я наведу непременно справки и напишу тебе.

– Пожалуйста, только не проговорись.

– Будь спокойна.

В три часа ночи я уехал из Р**. Дорогой вопрос о Фогель вертелся у меня на уме, и я не раз пожалел, что в ту пору, в Москве, не дал себе труда узнать имя моей интересной попутчицы. Чтобы нагнать упущенное, я решил было заехать на Дмитровку, рассчитывая, что с 10 до 2-х у меня хватит времени. Но поезд задержан был в К** так долго, что я едва успел на Николаевскую дорогу.

VI

Немедленно по возвращении в Петербург я посетил тетюшку Софью Антоновну, у которой Ольга жила до замужества и после. Отдал ей письма из Р** и просидел у нее весь вечер. Нового я ей не мог сообщить почти ничего, кроме личных моих впечатлений. Даже попытки Павла Ивановича насчет развода, о которых она до сих пор молчала, оказались известны тетюшке, должно быть, через сестру, хотя Ольга не подала и виду, что говорила об этом кому-нибудь, кроме меня... «Странное свойство женских секретов! – подумал я. Все знают их порознь, но всякий должен воображать, что никому, кроме него, ничего не от-

крыто!...»

Говоря о Бодягине, который вернулся вскоре после моего отъезда, тетушка сообщила мне по секрету, что он получил на днях большие деньги за какую-то концессию...

– Ездил по этому делу в Орел, – шепнула она, и вслед затем прибавила громко, – ведь вот, везет же таким разбойникам.

– У него есть в Орловской родня? – спросил я кстати.

– Да, есть.

– Есть баронесса Фогель – кузина?

– Фогель?... Да, кажется... Фогель?... Постояйка... Это Толбухиной, Ирины Матвеевны дочь-то, замужняя?

– Да, – отвечал я, смутно припоминая слышанное от Ольги. – Только чуть ли она не в разводе?

– В разводе?... Ну, нет, едва ли... Я что-то не слышала... Разве недавно?

– Есть, стало быть?

– Да, есть, а что?

– Так, ничего, я вспомнил... Мне говорили о ней в Москве.

– Есть, – повторила Софья Антоновна еще

раз.

Одно из главных моих подозрений рухнуло, поколебав, естественно, все остальные, и я на другой же день сообщил Ольге известие, что ее Фогель не вымысел, прибавив, однако, совет не верить всему без разбора, что она о себе рассказывает, ибо иные вещи по справкам оказываются сомнительны. Так, например, о разводе ее здесь до сих пор ничего не знают.

В этот же день был у Бодягина, но не застал его дома. Мы свиделись дня через два, и он затащил меня обедать к Борелю.

– А! Черезов! Здравствуй, любезный друг! Давно ли? Откуда? Как поживаешь? – расспрашивал он. – Я слышал от В**, что ты воротился, да только тебя не видно было все это время... Постой-ка! Постой! Дай на тебя поглядеть... Фу, черт, как ты постарел!... Что ты не женишься?... Если имеешь в виду, то пора, а впрочем, оно, пожалуй, чем позже, тем лучше. Вот меня, братец, нелегкая угораздила, поторопился, да не знаю теперь, как и отделаться... Черт знает, что это такое!... Ты слышал, конечно, с твоей кузиной?...

– Как же?

– Ах, да, я и забыл. Вы с нею ведь в переписке, и уж, конечно, она пожаловалась. Признайся, чай расписала так, что просто и на глаза не показывайся? Она ведь мастерица расписывать, и слог у нее такой высокий.

Он, очевидно, не знал о моей поездке в Р**, и я тут же решил не говорить ему об этом без надобности... Я отвечал, что он ошибается, что Ольга писала о нем очень мало и далеко не враждебно.

– Врешь, брат! Не может быть!... А впрочем, с вас станется! Вы ведь романтики, и у вас это все житейское прикрыто величественным молчанием или заставлено декорациями. Старая пассия, как водится между двоюродными, платония, родство душ – канитель возвышенных мыслей и идеальных чувств... Сонни! [2]

Все это у него было, не скажу искренно, но естественно. В сердце глубоко скрытый, расчетливый и сухой человек, он сам, однако, не признавал за собой этих качеств, считал себя добрым малым, способным на всякие увлечения, любил побалагурить с приятелями и

был бы весьма удивлен, если бы кто-нибудь усомнился в его простодушии.

– А ты никогда не писал чувствительных писем? – спросил я.

– Писал, братец, как не писать!... Я даже стихи сочинял. Но на меня это находит с ветру, как флюс или насморк, я не придаю этим вещам особенного значения.

– Но ты был влюблен в Ольгу?

– В Ольгу?... Еще бы! Влюблен до зарезу, иначе я бы, конечно, не сделал такого дурачества. Между нами, mon cher [3], женитьба жестоко меня подрезала. В ту пору особенно, финансовый кризис и прочее, а тут еще эта обуза!... Но я понимаю, тебя это мало интересует; хочешь узнать, как у нас было с нею... Скверно!... Ошибся я, братец, в ней. При всей своей опытности, ошибся. Как это случилось, я даже и объяснить себе не могу. Помнишь, каким смотрела козырем? А потом!... Но это у них часто бывает. Крепится, покуда в девках, изо всей мочи, чтобы как-нибудь дотянуть, а раз дотянула – кончено! Выдохлась вся, распустилась, просто хоть брось!... Я, впрочем, ее уважаю; она человек хороший, да только суще-

ственного в ней нет. Ты не можешь себе представить, что это такое было! Пяти недель не прошло, как стала расклеиваться идохнуть. То то, то другое у ней неладно; страшно было дотронуться, не знаешь, с какой стороны приступиться – ну, и щадишь. А она объясняет это холодностью. Эх, черт возьми! Да если бы я себе волю дал, так что от нее осталось бы?... Тряпки!... Ты извини, пожалуйста, я запросто.

Действительно, это было запросто, так запросто, что я не решаюсь и повторять его подлинные слова. Я слушал, кусая губы, с глубокой болью в душе, но странно сказать – я не мог на него сердиться, как не мог бы сердиться на лошадь, которая сбила меня с ног и протащила в грязи. Мало того, несмотря на всю боль, я любовался невольно дикою красотой и силою этого необузданного животного. Человеческое, если оно и было в нем, то не бросалось в глаза, а то, что бросалось, было именно что-то конское. Он был похож на кровного жеребца: легкий, красивый склад тела, могучая шея, гордый подъем головы, сумрачный огненный взор и густая, волнистая грива.

– Однако у вас с нею не было крупных

ссор? – спросил я.

– Скандалу-то? Нет, этого не было. Мы грызлись самым приличным и деликатным образом. Она пилила меня тихонько, ласково, с маленькой ядовитой улыбочкой на губах и с видом безгрешной мученицы. Я злился елико возможно и говорил ей милые откровенности. Знаешь, надо иметь характер, чтобы выносить это так, как я выносил, с моим темпераментом. Подчас у меня вот тут (он указал рукой на печень) кипело так, что, честью тебе клянусь, будь это не она, я, кажется, задушил бы ее своими руками.

– С чего же так?

– С чего?... Э, брат! Ты не был женат и не можешь представить себе, что это такое, когда уйти некуда, когда с утра до вечера, а иногда с ночи до света, тебе не дают покоя, душу сосут из тебя, жилы вытягивают, и все это с таким видом, как будто бы ты палач и мучитель, а она – жертва невинная, бесконечно нежна и снисходительна! Это, братец, такая вещь, что так вот и кажется все бы бросил, удрал бы к черту, в Африку, там куда-нибудь, в Хартум или в какую-нибудь американскую

территорию к краснокожим, чтобы только освободиться.

– Это меня удивляет, – сказал я, действительно несколько удивленный. – Я всегда считал Ольгу кроткою.

– Да, она кротка, слишком Даже. Только я вот что скажу: не дай Бог испытать на себе этого рода кротость. Не знаю, как тебе объяснить это, потому что ты не был женат... Ну, ты представь себе, что кто-нибудь уцепится за тебя и повиснет тебе на шее самым нежнейшим образом, но так, что ты ни на минуту не можешь отделаться, чтобы вздохнуть свободно, или начнет теревить тебя за рукав, напоминая о чем-нибудь неприятном, и это весь день напролет, без отдыха... Нет, черт их возьми этих чувствительных недотык!... Я предпочел бы уж лучше бабу, которая запросто вцепится тебе в волоса, если ты ее выведешь из терпения, или швырнет тебе в рожу тарелку, и которую ты, в свою очередь, можешь стегнуть хлыстом, если она дурит. «Свинство!» – ты скажешь? Ну я, пожалуй, не спорю – «свинство». Но если уж человек озлился, то лучше сразу сорвать свою злость, чем уго-

щать тебя через пять минут по ложке сладенькою микстуркою, от которой мутит... Однако, баста! Довольно об этом, а то испортишь себе хороший обед.

Обед действительно был хорош, и об Ольге больше помину не было... Мы пили много... Бодягин был весел, более даже чем весел. Недавний успех, о котором мне сообщила тетюшка Софья Антоновна, заметно его опьянял, и он мне рассказывал о своих делах с таким увлечением, что мне, наконец, стало гадко. В принципе, я ненавижу эту породу хищников и мироедов, у которых труд в полном презрении и все помыслы, все надежды которых устремлены на даровую добычу, а между тем, признаюсь, успех его, как успех, возбуждал во мне невольную зависть.

«Вот, – думал я, – человек не жал и не сеял, а умел только протискиваться между людьми и уже захватил себе львиную долю... А ты!...»

И длинный ряд неудачных попыток приладиться к жизни прошел в моей памяти траурною процессиею. Наука, служба, дело с М...вым, на которое все мы смолоду возлагали большие надежды и которое, как марево, су-

лило нам впереди что-то недостижимое... Потом усиленная работа мысли, порывы, искания, промахи и ошибки, много ошибок! Но в основании подо всеми одно: это заглядка вдаль и неспособность видеть или понять то, что творится вблизи, под носом и под ногами. Лет десять носился я, как дурак на рынке, с своей идеальной меркой и с задачами общественных целей, не замечая, что этот товар никому не нужен и что все от него сторонятся, как от проказы. Мало того, я был так глуп, что даже не мог разобрать, чего собственно этим людям нужно? И только услышав не раз повторенный хохот со всех сторон в ответ на мои расспросы, успел, наконец, измерить всю глубину своего заблуждения. Тогда мне стало стыдно за свою простоту, и я понизил тон. Но уже было поздно: я был давно записан в число недотык и меня сторонились, меня обходили, чуя во мне инстинктивно что-то чужое, враждебное. Партия моя была невозвратно проиграна, оставалось только ее окончательно сдать, что я и сделал... Нужда подвела итоги. И вот в 35 лет, бросив великодушные замыслы и высокие цели, я служу на одном из

приморских рынков агентом торговой компании, с мизерным жалованьем, а этот ерник сцапал шутя за свою концессию полмиллиона, женился шутя на Ольге и сыт уже ею до отвращения, ругается тут над нею и триумфирует надо мной, угощая меня шампанским. И что всего обиднее, он, со своей точки зрения, совершенно прав. Потому: что я такое в его глазах!... Труженик, вьючный осел, на спине которого люди, ему подобные, ездят без всяких хлопот; глупец, десять лет гонявшийся за химерами и не успевший извлечь ничего из жизни!

Я ушел от Бореля озлобленный, а он, на свистывая из «Прекрасной Елены», уехал к Стекольщикову играть в ландскнехт [4].

Дня через два дела мои в Петербурге были окончены, и я простился с родиною еще раз, надолго, как я полагал.

VII

Прошло полтора месяца. Я был давно уж на месте в М**, но за все время имел только одно письмо от Ольги. Оно было грустное и наполнено из конца в конец воспоминаниями о прошлом. С тех пор целый месяц ни от кого ни строчки. Напрасно ходил я на почту почти каждый день. Все тот же ответ: «Rien pour vous, monsieur! Absolument rien!...» [5] Наконец, это было уже 4 декабря, знакомый француз в окошке, увидев меня еще издали, протянул мне в очередь, через других, довольно толстый конверт. Он был за черной печатью. Это меня встревожило, и я думал сперва, что тетушка. Но адрес написан был ее хорошо знакомой рукой. О ком же это?... Чей час пробил?... Неужели?... Сердце заныло от мучительного предчувствия, и я с минуту держал распечатанное письмо, не смея в него заглянуть. Руки мои дрожали, когда я его развертывал... Увы! Имя Ольги стояло на первых строках!

«Мой милый друг Сережа! – писала тетушка Софья Антоновна. – Я должна сообщить тебе горестное известие. Бесценная наша Ольга скончалась на предпрошедшей неделе, в среду, мгновенно и неожиданно для всех окружающих. Знаю, как сильно тебя огорчит это несчастье, и молю Бога, друг мой, чтоб он тебя подкрепил и утешил. Я только что воротилась из Р**, где оставила сестру Анну полуживую и совсем обезумевшую от горя. Хотела ее увезти с собою, но невозможно: она так слаба, что не выдержала бы дороги. Ты не можешь себе представить, что это такое было. Весь город у них там в ужасе, потому что Оля была совсем здорова и ее видели на ногах всего за какой-нибудь час до смерти. Но об этом после, мне надо обратиться с мыслями, чтобы рассказать тебе все по порядку, милый мой; я так была перепугана, что сама едва осталась в живых и до сих пор не могу опомниться, а потому прости, что пишу тебе так нескладно и так неразборчиво: с трудом вижу бумагу от слез. Как это случилось, мы ничего не знали сначала

*ла, и я до сих пор не всем открыла то, что узнала в Р**... Страшно, Сережа! Страшно подумать, какие есть злые люди на свете! И кому нужна была смерть нашей бедной Оли? Кому она сделала зло в своей жизни – она, этот ангел небесный?...»*

Тут несколько слов расплылись, но я и без этого не мог читать. Невыразимый ужас охватил меня, ужас и жалость. Это было на улице, на террасе большого кафе, и вокруг было шумно, сидело много народа. Я убежал к себе и там, один, в полусвете вечерних сумерек, раскрыл еще раз письмо Софьи Антоновны. Оно было длинное.

*«В пятницу вечером, – продолжала тетушка, – Степан Егорович (ее зять) получил депешу из Р**, с просьбой сообщить мне поосторожнее, что Ольга скончалась. С первого слова я поняла, что случилось какое-то большое несчастье; но я никак не вообразала, что это с Олею: я думала, что сестра... В депеше не было никаких подроб-*

ностей кроме того, что Аннетта в отчаянии. Я тотчас уехала к ней. К тому времени, когда я проезжала через Москву, об этом было уже в газетах, но я еще ничего не знала. В вокзале, в Р**, меня ожидала Микулова с мужем. Они объяснили мне, что Аннетта у них, и увезли к себе. От них я узнала главное, но потом еще слышала много чего, и чтоб не путать, расскажу тебе уже все за раз. В среду, на предпрошедшей неделе, в 8-м часу вечера, к Ольге пришел какой-то мальчик, как после узнали, из постоянного дома (сестра Аннетта в ту пору была у Микуловых). Что там такое он ей сказал, неизвестно, но Оля ушла с ним и через час воротилась одна. Когда воротилась Оля, матери еще дома не было и Оля ей не велела сказывать. В 10 часов воротилась Аннетта, разделась и легла, а через час все уже спали. Думали, что и Оля спит, но Оля, как после узнали, и не ложилась. В первом часу она разбудила горничную и велела поставить себе самовар, а когда та удивилась, видя ее еще одетую, сказала, что у нее гостья, знакомая одна, из

Москвы, приехала на минуту, и уезжает завтра чуть свет. «Не буди, – говорит, – никого, Параша, поставь самовар тихонько на кухне и принеси ко мне в комнату». Та дивится. Господи! Да когда же это она вошла? «Сейчас вошла, – отвечает Оля, – я ей сама отворила и выпущу; ты только подай мне сюда все, что нужно, да и ложись...» Та сделала, как приказано: подала из столовой посуду, чай, сахар и, подавая, действительно видела в комнате с Олей какую-то молодую даму, но лица не могла разглядеть, потому что она сидела спиной к дверям... Слышала из сеней, как Оля с гостьей смеялись и разговаривали. Потом подала самовар и ушла. «Сама, – говорит, – не знала, что делать: лечь ли спать, как барыня приказала, или повременить, чтоб выпустить гостью и потом побесить Ольге Федоровне?» Но Ольга выбежала ей вслед и приказала еще раз не дожидаться. «Не нужно, – говорит, – я сама все сделаю». Тогда Параша ушла к себе в девичью, разделась и легла, но не могла уснуть. «Напал, – говорит, – на меня с чего-то страх; лежу и ду-

маю: что за гостья такая, что по ночам шляется? И зачем барыня принимают тайком от маменьки? Уж не хотят ли уехать с ней вместе? И что это будет, как хватятся поутру, а барыни-то уж нет, и с нее спросят: чего смотрела?... Лежу, – говорит, – слышу: кто-то прошел через сени в столовую и воротился назад: Должно быть, барыне что-нибудь понадобилось для гостьи. После того прошло этак недолго, слышу: дверь скрипнула и кто-то опять прошел через сени, в прихожую, так скоро, скоро... Ну, думаю, верно ушла; и опять страшно стало; лежу, прислушиваюсь, сама вся дрожу. Наконец не вытерпела, как есть, в сорочке, босая, встала тихонько и вышла. Вижу: в сенях темно. Подкралась на цыпочках к комнате Ольги Федоровны, послушала – тихо; глянула в замочную скважину – ни зги не видать. А сердце-то словно чуяло, так и стучит! Не могла, – говорит, – я дольше стерпеть. «Барыня! – говорю, – а барыня!... Спите?», а сама хватъ за ручку, чтобы войти, но дверь была заперта на замок, чего никогда до сих пор не случалось.

лось ночью... Стала стучать: ни гу-гу! Испугалась, – говорит, – уж я тогда не на шутку, побежала и разбудила Аришу». Вместе они зажгли свечу, выбежали в прихожую, смотрят: наружная дверь не замкнута, а только притворена, и свечка из комнаты Оли стоит на столе потушенная. Обе решили, что барыня их ушла: но куда? Третий час ночи в исходе. Куда могла уйти Ольга в такую пору? Ни одной и на ум не пришло, что машина отходит от них в Москву как раз в три часа. Побежали будить других; послали старуху Марфу к сестре; сестра перепугалась до смерти, но не хотела верить. Прибежала она сама к затворенной двери, стучит, зовет: «Оля! Мой ангел! Оля! Ты спишь?...» Никакого ответа... А между тем в сенях собрался весь дом, кликнули дворника; Аннетте сделалось дурно, и ее вынесли... Ах, друг мой! Лучше бы она умерла тут на месте, чем пережить весь этот ужас!... Пока ходили за слесарем и в полицию, прошло много времени. В 6 часов наконец отворили дверь и нашли Олю мертвую на полу между столом и ди-

ваном... Матери, к счастью, при этом не было; ей после сказали. В комнате стол был накрыт, и на столе нашли самовар, сливки, чай, сахар и чашки с чаем. Из чашек одна недопита, другая совсем не тронута... На первых порах понять не могли, что случилось, и думали, что удар, но теперь уже нет сомнения, что Оля была отравлена. В трупе ее и в недопитой чашке найден был яд; Алексей Демьянович, их доктор, сказывал мне, какой, но я не помню; знаю только, что это ужасный яд, от которого умирают в минуту, и что он был подсыпан Оле в чашку, как полагают, в ту пору, когда она уходила из комнаты за лимоном, который тоже нашли на столе, но который, Параша клянется, что не подавала. Ключ от дверей нашли в комнате на полу, и это сбило всех с толку, но потом догадались, что он был подсунут снаружи, в щель между дверью и полом и, должно быть, сперва лежал близко, но потом отодвинут вошедшими. В Р** все уверены, что Олю отравила эта приезжая, и полиция ее ищет везде, но до сих пор не нашла.

Узнали только, что она останавливалась в том доме, откуда мальчик был послан к Ольге, и есть догадки, что это уже не в первый раз, хотя хозяйка не признается; но далее никаких следов, а, главное, имени до сих пор не могут узнать, потому что Оля с ней виделась тайком, а в постоялом доме не спрашивали... Судя по всему, это было вот как. Та приехала в постоялый дом с машины, в среду в 7 часов, без поклажи, с одним небольшим ручным мешочком, тотчас послала за Олей мальчика и виделась с нею тайком от матери в постоялом доме, и, вероятно тогда уже, уговорилась навестить Олю ночью, когда все в доме уснут; и Оля ее ждала, не раздеваясь, и они пили чай, и убийца ушла от Оли, как полагают, в 2 часа ночи, пешком, со своим ручным мешочком, прямо на машину, и, конечно, уехала в 3 часа, когда почтовый поезд отходит в Москву. Вот и все насчет этой ужасной женщины. Остальное известно Господу Богу, который один был свидетелем ее злодеяния, один знает истинные причины его и один может открыть их,

так же, как и участников, если, как надо думать, участники были. Боюсь даже и намекнуть, мой друг, кого касаются мои подозрения, и лучше желаю думать, что я ошибаюсь кругом и что это лицо совершенно невинно, а между тем как-то неволью думается, потому что кому нужна была ее смерть, помимо его?...

Павла Ивановича здесь, в Петербурге, два раза призывали к допросу, но я не знаю, чем это кончилось, знаю только, что он не арестован. Зато другие, в Р**, арестованы. Бедняжку Парашу, еле живую от ужаса и в слезах, взяли тогда же, и она до сих пор сидит. Взяли еще и других, но многих уже выпустили, и о Параше Микуловы пишут, что против нее нет никаких серьезных улик, кроме того, что весь рассказ о приезжей, т. е. насчет того, что она была у Оли ночью, основан единственно на ее словах, и она одна была на ногах при этом и ставила самовар. Но какие причины могла иметь Параша, которая так любила свою госпожу?... И зачем бы она подняла весь дом и сама против себя стала показывать, то-

гда как ей было легко все скрыть, что она, конечно, и сделала бы, если б была виновата... И опять, она не могла сочинить всего, потому что приезжую видели в постоялом доме и узнали, что она посылала оттуда мальчика к Оле и что Оля у нее была тайком от домашних... Господи Боже мой! Кто бы это мог быть? Думаю иногда по целым часам, и все мне мерещится этот ужас, как они пили чай, смеялись и говорили между собой как друзья, и что потом было... Как смерть пришла, как свечи были потушены, комната заперта на ключ, и как убийца бежала... Я была совершенно больна от этих ужасов и, воротясь сюда, пролежала шесть дней в постели. Нужно ли тебе говорить после этого, что делается с сестрой?...»

За этим следовала еще страница, которую я уж не в силах был разобрать, несмотря на зажженные свечи. Буквы пестрели и разбегались, в глазах мелькали радужные круги. Что-то тяжелое и ужасное давило мне грудь. Я силился овладеть собой, стараясь уверить се-

бя, что это не может быть, что это сон и, судя по тому, как мысли путались у меня в голове, это было похоже только не на здоровый сон, а на какой-то тифозный бред, в котором фантазия мчится как перепуганный конь, без цели и без узды.

Долго ли это длилось, не помню, помню только, что мне вдруг стало невыносимо душно, и я, подбежав к окну, отворил его настежь... На дворе было уже темно. В гавани, между чернеющим лесом мачт, мелькали уединенные огоньки. Внизу, на набережной, поулеглось, и в промежутках покоя, когда смолкали песни матросов в шинке и умирал шум шагов, ночной ветерок доносил до меня далекий гул моря, светлой полосой синеего вдали.

Все это мало-помалу меня отрезвило, и я начал понимать прочитанное... Первая мысль, в которой я дал себе некоторый отчет, была уверенность, что я, и один только я, знаю убийцу Ольги. Мало того, я был почти уверен, что знаю ее соумышленника. Бодягин недаром ездил в Орел. Он видел там эту Фогель, и дело это, конечно, условлено было

между ними. Недаром он так настаивал на разводе.

Я плакал от жалости и от злости; я метался по комнате вне себя, убитый, растерянный, и вдруг заметил, что в промежутках этих бесцельных порывов я что-то делаю. Оказалось, что я машинально вытащил чемодан и сую в него вещи. Только тогда я припомнил, что еще за письмом я решил непременно ехать и что эта решимость водила меня безотчетно туда и сюда. Несколько ящичков было открыто, кое-какое белье и платье, поспешно вынутые, валялись по стульям и на полу... Взгляд на часы, однако, заставил меня одуматься. Спешить было некуда, потому что я опоздал на курьерский поезд, да, сверх того, я именно в эту минуту прикован был безотлучно к месту. Единственный человек, которому я бы мог с грехом пополам передать дела, был в это время далеко и мог воротиться не раньше как через три дня. Но ждать... Ждать тут сложа руки, когда там ищут, теряя напрасно время!... Что делать?... В письме день смерти был обозначен неясно... «в среду, на передпрошедшей неделе...» Я стал считать и насчитал бо-

лее трех недель. Какую важность это могло иметь, я не знал, но чувство горячего, безотчетного спеха жгло меня вместе с невыразимой ненавистью и злобою... «Скорей!... Скорей! – шептал мне внутренний голос. – Сию минуту телеграфировать! А завтра, чуть свет, с первым поездом, я отправлю письма».

Депеша была готова в пять минут, и я бегом кинулся с нею на станцию. Она была на имя Z**, которому передан был в ту пору наш бесконечный процесс.

«По делу Ольги Бодягиной, отравленной в P**, – телеграфировал я. – Лицо, которое ищут, приезжало уже однажды в P** в начале этого сентября и виделось с Ольгой тайно. Имя ее – баронесса Марья Евстафьевна Фогель, кузина мужа, орловская. Я знаю это из первых рук. Сообщите немедленно кому следует. Подробности будут в письме. Ответ оплачен».

Воротясь домой, я немедленно сел писать и просидел всю ночь. Рано поутру два письма – одно к тетушке Софье Антоновне, другое на имя Z** – были готовы и снесены на почту. В первом я умолчал о своих подозрениях, частью не желая тревожить тетушку без нужды,

но, признаюсь, больше из страха, чтобы она не проболталась. Зато во втором я высказал Z** без утайки все, что мне было известно.

«Судите сами, – писал я, – и сделайте за меня все, что нужно. Издержки оплачены будут немедленно вслед за известием об итоге...» В конце я просил его сообщить мне подробно о ходе дела.

Два дня прошло в лихорадочном ожидании. На третий я получил короткий ответ от Z**: «Передал вашу депешу буквально в P**, но не могу предсказать результата. Дело не выясняется. Все нужное будет сделано. Z**».

Через неделю пришла другая депеша: «Письмо ваше получено, но указания плохо оправдываются. Дознано, что б. М. Е. Ф. в критическую минуту была в своем имении и ни в ту пору, ни в сентябре не трогалась с места. Имя, конечно, украдено. Против мужа нет никаких улик, и вообще ничего не открыто. Z**».

Депеша эта охолодила мой пыл, и я решил, что мне незачем ехать... Прошла еще неделя. В конце ее я получил, наконец, и письма, но ни одно из них не разъяснило мне мучитель-

ного вопроса. Тетушка фантазировала и горько жаловалась на новый порядок вещей по следственной части. «Случись это прежде, – писала она, – какой-нибудь Шерстобитов давно бы все разыскал. А нынче?... Кто хочет, может спокойно тебя отравить или зарезать» и прочее. Судя по тону, однако, время подействовало. Ее письмо было спокойнее и содержало в конце страницу о посторонних вещах.

– Бедная Оля, – подумал я. – Как скоро тень твоя исчезает со сцены, и как далеки мы все от безутешного горя, лживую дань которого мы так охотно кладем на могилу друзей!... Вот, тетушка пишет, что ее Вася выпущен в гвардию. Бьюсь об заклад, что новые эполеты Васи волнуют ее теперь гораздо более, чем эта тайна, о которой она две недели назад писала, что спать не дает... Спит теперь, я полагаю, так же спокойно, как и бывало.

Письмо Z** тоже не содержало важных открытий, но тем не менее оно дало пищу мысли, пополнив мучительный недостаток фактов в моей голове.

«Большая ошибка, – писал он, – сделана

была в самом начале розыска. 5 – 6 часов возились с пустыми предположениями об аневризме [6], самоубийстве, виновности горничной и т. д., из которых последнее, если б и оправдалось, не требовало бы спеха, так как девчонка эта была в руках; а то, что требовало немедленного распоряжения, пошло в конец очереди, точно так, как будто они решали алгебраическую задачу, в которой искомое не может дать тягу. В полдень только хватились телеграфировать по железной дороге в Москву и, разумеется, опоздали, так как почтовый поезд был там в 10 часов утра. Говорят: все равно, потому что лицо было вполне неизвестно!... Да если б лицо было известно, тогда и разыскивать, собственно, нечего, оставалось бы только преследовать и ловить. Но я позволяю себе спросить, что это значит – «лицо вполне неизвестно»? Напротив, многое было о нем известно. Во-первых, известен был час отъезда, а стало быть место и время прибытия. Убийца была непременно в 10 часов в Москве, на дебаркадере, в числе пассажиров почтового по-

езда. Это одно уже не безделица. Но, говорят, как узнать? Не задержать же приезжих гуртом в вокзале? Опять пустяки. Известно было, во-первых, что это женщина; вот уже половина прочь. Потом, эта женщина не простая, а, как говорится, дама, да еще молодая дама, и весьма вероятно, почти наверное, – одна. Но и это еще не все. Знали или должны были знать, что дама эта была без багажа, с одним ручным мешочком (что на большом расстоянии, по крайней мере у нас в России, редкость)... Я спрашиваю, что остается? И не несчастный ли это случай, если из пятисот, положим даже из тысячи человек пассажиров, нашлось бы больше пяти, отвечающих всем этим приметам? Оставьте же лишние церемонии и задержите этих пять лиц хоть на минуту, зная почти несомненно, что между ними одно искомое. Спрашивается: есть ли какая-нибудь возможность, чтоб эта искомая ускользнула, чтобы она не выдала себя чем-то тут же на месте, не оробела, не сбилась в ответах?... И это только простая логика, доступная

всякому; а у привычного сыщика есть свои, незнакомые нам приемы и своего рода нюх, который с такими богатыми данными привел бы его прямо к цели. Но время упущено, след простыл и розыск с первых шагов сел на мель. Ничего важного у них нет теперь. Держат до сих пор в остроге эту несчастную горничную, насчет которой теперь никто уже не сомневается, и недавно опять посадили (чуть ли не в третий раз) старуху, хозяйку того постоянного дома, где останавливалась убийца. Старуха давно созналась, что то же лицо было у нее уже раз, в сентябре, но от нее требуют имени, низводя таким образом уголовный вопрос до полицейской придирки, основанной сверх того на чисто бумажном порядке, который у нас нигде, кроме столицы, не действует. Известно, как это делается. Кто не бывал проездом в губернском или уездном городе? И кто не знает, что там не только на постоялом дворе, а даже в людной гостинице раньше трех дней не спросят ни вида, ни имени?... Да и к чему? Что, например, выигралось бы, если бы старуха

показала, что дама, у нее квартиро-
вавшая, называла себя баронессою Фо-
гель?... Кстати, об этой Фогель: вы
уже знаете главное из депеши, и мне
остается прибавить очень немного.
Ее, то есть действительную, само со-
бой разумеется, не тревожили. По пер-
вым справкам ясно было, что это
фальшивый след. Во-первых, она была
несомненно дома и в сентябре и после;
а, во-вторых, есть множество обстоя-
тельств, по которым она не могла
быть главным лицом, а даже и косвен-
но участницей. Назову только одно из
них, потому что оно одно может
иметь для вас интерес. Дознано, что
она не видала Бодягина во время его
поездки в Орел... Затем о Бодягине.
Его, разумеется, не оставили без вни-
мания, но кроме писем жены, в кото-
рых действительно речь была о разво-
де и еще об одном предмете (сейчас
скажу, о каком), не найдено ничего,
что могло бы даже и косвенно под-
твердить существовавшее против
него до-вольно слабое подозрение. Ма-
ло того, одно письмо (если не ошиба-
юсь, последнее, полученное от жены)

едва не сбило всех с толку, направив догадки совсем в другую дорогу. В письме этом говорится довольно ясно, что положение пишущей нестерпимо, что жизнь ей в тягость, и что только одна религия удерживала ее до сей поры от самоубийства, но что и эта точка опоры в последнее время у нее пошатнулась... Судите сами, какая находка для следователя, чувствующего, что дело скользит из рук!... Не будь тут двух, трех неловких фактов, скрепляющих показания горничной, это письмо им развязало бы руки, да может быть еще и развяжет... Но возвращаюсь к Бодягину. Я лично вполне разделяю некоторые из ваших догадок на его счет. Мне кажется крайне невероятно, чтоб он, вообще говоря, был совершенно чист, потому что помимо его или каких-нибудь отношений к нему трудно даже представить себе, чтобы кто-нибудь мог иметь какую-либо причину отправить его жену на тот свет. К тому же они были в ссоре, речь у них шла о разводе, и он на этом настаивал, а она была несогласна. Все нравственные мотивы налицо.

Но, господа, нравственные мотивы – вещь очень скользкая, и единственный вес, который мы вправе придать им, есть вес отрицательный. Если их нет, то это естественно заставляет нас усомниться в виновности. Но в обратную сторону нельзя заключать, ибо мы знаем из опыта, что подобного рода мотивы сами в себе недостаточны. Мало ли мужей в ссоре со своими женами и добивающихся развода или по меньшей мере сильно его желающих! Что ж? Разве все они прибегают к убийству?... Помилуйте! Да этак жизнь в обществе, в гражданском быту была бы немыслима и оставалось бы бросить людей, бежать от них как от тигров или от ядовитых змей!... Но, допустим, что в иных редких случаях подобного рода мотивы могут вести и приводят действительно к преступлению. Что ж из того? Для каждого данного случая необходимо все-таки доказать фактически, что подобного рода связь мотива с делом существовала действительно. Факты необходимы не только, чтоб обвинить, а даже чтоб юридически заподо-

зритель лицо, а фактов у нас, к несчастью, нет никаких. Концы, если они и были с его стороны, припрятаны так искусно, что даже тени от них не видать. Конечно, за ним следили и до сих пор следят, но вот уже месяц прошел без всякого результата, а месяц, батюшка, в этого рода вещах – это почти все равно, что вечность. Если в месяц они ничего не пронюхали (а я имею верные сведения, что не пронюхали ничего), то дело это, судя по всему, безнадежно и нужно чудо, чтобы теперь еще открыть что-нибудь. Они это сами знают, и, если не ошибаюсь, махнули рукой. Следят еще так *pro fortis* [7], покуда в публице не затихло, а как затихнет, составят определение – и баста.

Перехожу к вашей дорожной встрече, и прежде всего скажу, что я справлялся на Дмитровке, не официально, но все же весьма аккуратно и через верных людей. В книге нашли действительно ваше имя, но тут же, под вашим, какой-то другой рукой написано, – угадайте-ка что?... Софья Черезова!!! Просто и остроумно! Я хохотал, когда по-

лучил ответ из Москвы... Si non e vero e ben trovato [8], не правда ли? Вот подите, как осторожно следует быть с молодыми попутчицами, которые прячутся в семейных купе, опускают вуаль, и, что всего хуже, курят сигары!... Мнимая Фогельша тоже курила сигары и тоже пряталась и, вдобавок, имела кольцо с рубином!... Все это, я согласен, довольно странно и совершенно естественно должно было породить догадки. Но, господа! Что такое догадки, которые нас не ведут ни к чему? Я не намерен спорить о силе их. Положим, что они еще вдесятеро сильнее; положим, что была та самая. Что ж из этого? Она исчезла, и вы не знаете даже имени. Вы видели только мельком, в потемках, вензель на носовом платке – «Ю. Ш.» А может быть и не «Ю. Ш.»? Может быть, вам показалось так?... Ошибки этого рода нередки. Да, наконец, вы и сами не верите или не верили этому вензелю; доказательство – имя, которое вы мне сообщили. Конечно, оно было фальшиво, но вы не считали его фальшивым, и совершенно логично, потому что нельзя

заклЮчить ничего решительного по вензелю на платке. Платок может быть чужой, вензель случайный. Пойду еще далее. Предположу, что вы в настоящий момент в России встретили эту личность где-нибудь и убедились, что это та самая. Как вы докажете, что это та, то есть, что это ваша попутчица, и затем еще раз, что она и искомая личность тождественны?... Вы могли ошибиться. Вы не видели ее в Р**, вы знаете только от вашей кухни две-три приметы, очень поверхностные...

Эти и некоторые другие соображения заставили меня ограничиться подстрочною передачей вашей депеши и умолчать совершенно о том, что вы сообщили в письме».

Письмо это я перечитывал несколько раз, и на первых порах оно произвело на меня благотворное влияние. Оно дало пищу моей раздраженной мысли и положительную опору моим догадкам, но, тем не менее, оно было скудно. Оно оставляло главный вопрос не только неразрешенным, а даже незатрону-

тым. Кто сделал дело? И для чего? Кому нужна была смерть этой несчастной женщины?... Недели три я возился с этой загадкой и, наконец, не вытерпел. Кстати, я должен был выслать деньги Z** и, пользуясь этим случаем, написал ему несколько строк, прося ответа. Он отвечал, что дело совсем замолкло и что догадки его, также как и других, за совершенным отсутствием фактов, способных направить их на какой-нибудь иной путь, волей-неволей останавливаются на самоубийстве.

*«Другое лицо, – писал он, – конечно тут было, и факт, что оно так старательно пряталось, конечно, весьма подозрителен. Но мы не знаем, кто это лицо, и нет ничего невозможного, что оно было только пособницею. Оно могло, например, привезти с собой яд, по просьбе О. Б., которой трудно было его достать в таком городке как P**, где малейший шаг с этой целью возбудил бы немедленно толки и подозрения. Против этой гипотезы, разумеется, тяжело говорит показание горничной,*

что ее госпожа смеялась и весело разговаривала наедине с приезжей, но ведь приезжая могла и не верить, чтобы ее приятельница серьезно решилась исполнить свое намерение. Яд мог быть добыт и вручен, как пистолет или нож, так только, на всякий случай, – и получен вашей кузиной шутя, со смехом, с не раз повторенными уверениями, что она и не думает употребить его в дело без крайней надобности. Может быть, даже она и точно не думала в ту пору, когда получала, а там, когда гостья ушла, – одна минута уныния или отчаяния, и дело сделано – сделано, может быть, даже без твердого умысла и отчета, а так, как говорят, лукавый попутал... Все это очень слабо, конечно, и я, пожалуй, даже скажу – неправдоподобно, но в строгом смысле; нельзя сказать, чтоб это было совсем уже невозможно. К тому же, есть кое-какие невероятности и в другую сторону. Правдоподобно ли, например, чтобы О. Б. доверилась так легко совсем незнакомой женщине, которая назвала себя именем, для О. Б. тоже совсем незнакомым? И как дове-

рилась? Посещала ее тайком от матери, в постоянном доме, открыла ей, как вы пишете, свое сердце, свое отношение к мужу, свои задушевные мысли?... Наконец, гипотеза самоубийства имеет все-таки на своей стороне два факта: во-первых, ключ, найденный внутри (говорят, подсунут снаружи кем-нибудь из вошедших, но не гораздо ли легче предположить, что он был повернут бородкой прямо на выем и выпал, когда снаружи стали стучать), а, во-вторых, – письмо, в котором О. Б. собственноручно свидетельствует о своем намерении... А догадки другого рода не имеют в пользу свою совсем ничего. Если бы было что-нибудь – любовь, например, или ревность, или матримониальный умысел, то трудно себе представить, чтоб этого рода вещи ни прежде, ни после не обнаружили совершенно ничем. У Бодягина были, конечно, любовницы, да и теперь есть, но все это женщины или замужние, или публично скомпрометированные, и, стало быть, такие, которым его жена не могла мешать. К тому же дознано, что ни одна из них в ноябре не

*шевелинулась с места. Затем, кто бы
ла искомая и в какой связи состояла
она с О. Б. – это тайна, которую разъ-
яснить, вероятно, могла бы нам толь-
ко одна покойная. Вам она не открыла
ее, но почему вы знаете, в какой степе-
ни она была с вами искренна, и не было
ли у нее причины открыть вам только
часть истины, а насчет остальной
умолчать или даже умышленно на-
править вас на фальшивый след?... По-
думайте и решите сами».*

Письмо это вывело меня из себя.

«Проклятый фигляр! – воскликнул я мыс-
ленно. – Кондотьерри [9] ораторских распрей!
Профессор судебной гимнастики!... Ты упраж-
няешься тут надо мной в диалектической
гибкости языка!... У тебя нет уважения к ис-
тине, нет убеждений, нет фактов, ясных как
день, которые ты не готов бы был опрокинуть
вверх дном, перекроить и вывернуть на-
изнанку, по первому требованию покупщи-
ка!... Ты сторожишь, как фактор [10] на пере-
крестке, засматривая в глаза прохожим: не
наймет ли тебя кто-нибудь на послуги?... Все,

что угодно, – на все готов!... Прикажете – сию минуту вам докажу, что женщина эта отравлена! Или вы не желаете этого? Хотите, чтоб я доказал, что она сама отравилась?... Сию минуту...

Я смял письмо и с отвращением бросил его в огонь. Я был убежден, что все это фиглярство и что Z** хотел только пощеголять передо мной своей изворотливостью. Но не прошло и пяти минут, как я уже чувствовал, что сомнение подкапывается, как крот, под мою непоколебимую истину. «Ну а что, если он прав?» – шептало что-то чуть слышно мне на ухо; и вслед за этим все спуталось у меня в голове.

Долго-предолго длилось еще это бесплодное напряжение мысли. Я строил гипотезы по целым неделям и разрушал их в две, три минуты. Это была работа Сизифа – мучительная и безысходная. Порой, когда мне казалось, что я уже близок к вершине, во мне поднималась решимость, и я начинал обдумывать планы действия. Раза два или три я чуть не уехал на родину с этой целью, но каждый раз, в решительную минуту, нелепость задуман-

ного становилась мне вдруг ясна как день, руки мои опускались в унынии, и камень Сизифа катился вниз... Это шло периодически, как симптомы перемежающейся болезни, и периоды уныния совпадали у меня всегда с тяжелым расстройством нервов. Я помню бессонные ночи и помню странные сновидения, которые посещали меня в бреду. Они все были в связи с фатальным событием. Вначале мне часто грезилось, что я напал наконец на след убийцы и отыскиваю ее то в Москве, в номерах, то в Р**, то ночью, в уединенном купе вагона. Раза два я мчался за ней на курьерском поезде, где-то в Германии, стараясь изо всех сил припомнить адрес отеля, в котором, я знал, должен ее найти. Раз, это было уж летом, в июльскую душную ночь, – мне грезилось, будто я крадусь в потемках на пятый этаж с агентом сыскной полиции, в руках у которого потайной фонарь... Мы отворили двери отмычкой, пробрались в ее квартиру и захватили ее в постели сонную.

– Она? – шепчет сыщик, направив свет фонаря на ее лицо... Я вглядываюсь: «Она!» Но в эту минуту фонарь потух, и две руки обви-

лись вокруг моей шеи...

– Останься!... Ведь ты меня сам приглашал, – шепчет мне на ухо страстный голос, и я вдруг будто бы понял, что все это грезы, что никакого Берлина и сыщика не было, что я в Москве, на Дмитровке, в меблированных комнатах. В объятиях у меня моя попутчица, и она будто бы шепчет: «Смотри же, помни наш уговор. До утра я твоя, но поутру ты выпьешь то, что стоит тут на столе, и тогда счета наши окончены». – «Что такое стоит на столе?» – Она шепчет: «Яд». – «Какой?» – «Тот самый, который я Ольге дала... Не бойся, – он действует быстро, и ты умрешь без мучений... Я видела, она умерла при мне. Усмешка еще не успела сбежать у нее с лица, как на нем уже лежала тень смерти, и в ту минуту все было кончено. Так же легко окончится и с тобой, потому что это тот самый яд...»

Ужас сдавил мне сердце, и когда я проснулся, оно стучало молотом у меня в груди...

Но чаще всего мне снилась Ольга, и снилась как-то всегда одинаково. Сижу будто я один у себя и совершенно спокоен. Вдруг отворяются двери, и входит женщина в черном.

Лицо под вуалью. Она бледна и серьезна, но кроме этого ничего особенного. Она подходит, смотрит на меня печально и словно хочет сказать мне что-то, но губы ее не шевелятся, и взгляд недвижим... Смутная мысль, что дело неладно, потому как же это она пришла, когда она... того...?

– И следом за этой мыслью страх крадется холодком вдоль по спине... Видение меркнет, и я просыпаюсь в ознобе.

В исходе года, однако, следы душевного потрясения стали слабеть и небольшая поездка на север, в Б**, вместе с холодным морским купаньем, поправили меня окончательно... Жизнь потекла по-прежнему, мелкой своей стороной наружу. Дела, приятели, книги – все снова вступило в свои права.

ЧАСТЬ II. Жюли

I

Отец мой был русский, мать – молдаванка. Они были бедные люди, жили в уездном городе и имели много детей. Я была младшая. Меня – двухлетнюю – взяла к себе на воспитание одна проезжая барыня, которая остановилась у нас случайно. Она была бездетна и скоро, потом, потеряла мужа. Звали ее Анна Павловна, но я всегда ее называла «маман». Она любила меня, держала как дочь и дала мне приличное воспитание. У меня были учителя музыки, танцев, истории, арифметики и чистописания; русскому языку и закону Божию учил священник, французскому и географии – гувернантка. Все было ладно, и судьба моя могла быть совершенно другая, если бы мы с маман не встретились, ко взаимному огорчению, на одной тесной дорожке. У нее были любовники, кто попал: зубные врачи, парикмахеры, странствующие артисты и безбородые молодые офицеры в долгу. Все это я знала

еще ребенком от гувернантки моей, мадмуазель Плюшо, которая была очень добра ко мне и наставляла меня, как я должна себя вести, чтобы маман не была вынуждена передо мною краснеть. И долго после того, как мы расстались с мадемуазель Плюшо, я исполняла ее советы, но один случай испортил все. Конечно, маман и сама виновата. Мне было уже 17 лет. Вольно же ей было оставлять меня по целым часам наедине с моим учителем музыки, красавцем, который был у нее, в ту пору, на очереди, и в котором она души не чаяла. Вместо того, чтобы оправдать доверие, ему сделанное, он соблазнил меня. Как это случилось, я и сама не знаю, потому что я не была в него влюблена, да и вообще не влюбчива. Но несмотря на уроки мадемуазель Плюшо, я была в ту пору еще неопытна и многого вовсе не понимала, а когда поняла, то уже было поздно и никакое благоразумие не в силах было меня остановить. Теперь я знаю, что это такое – это в крови, и тех, у кого это есть, нельзя строго винить.

Два года мы, таким образом, играли в прятки с маман, и я до сих пор удивляюсь,

как она ничего не заметила. Три вещи, впрочем, несколько объясняют ее слепоту. Во-первых, внешность была у меня такая невозмутимая, что сквозь нее ничего не проглядывало наружу. В полном разгаре страсти я смотрела еще такую невинностью, что няня моя, бывало, после свидания, только руками всплеснет. «Творец небесный, – говорила она, – и кто только поверит, глядя на этукую, что уже сквозь все прошла!... Вишь, очи потупила! Архангелом смотрит! А внутри-то, поди: семь бесов сидит!... Ах ты тихоня! И как ты только делаешь, что к тебе этот грех не льнет?» Во-вторых, природа меня наделила железными нервами. Никогда, сколько я помню себя, я не теряла присутствия духа. Заставить меня покраснеть – было нелегко, заставить сбиться в ответах, струсить и растеряться – почти невозможно. В-третьих, меня прикрывали. На моей стороне была няня, та самая, о которой сейчас была речь, и горничная, которую я подкупила. Через эту последнюю, впрочем, я и попалась. Сейчас расскажу как, а теперь только прибавлю, что мой учитель музыки был не единственный. Маман их

меняла быстро, особенно в это последнее время, и я волей-неволей следовала за нею. После учителя музыки у нас был мозольный оператор, а после оператора – магнетизер, который лечил от всяких болезней тем, что водил руками по телу. У маман был какой-то дар отыскивать этого рода людей, и они тотчас делались у нее домашними, обедали, пили чай, играли в карты. Но возвращаюсь к рассказу. Около этого времени мое воспитание было кончено, и маман начала меня вывозить. У нее был большой круг знакомств, и мне было весело; я много плясала, рядилась, кокетничала, за мной волочились. Протянись это еще год или два, и я, может быть, составила бы хорошую партию, но судьба распорядилась иначе.

Раз как-то, когда я собиралась на бал, Дуныща, горничная, спалила мне кружева, дорогую вещь. Я рассердилась и в сердцах погрозила ее прогнать: большая глупость, потому что я не могла этого сделать, и она мне сказала это в глаза. Это был первый раз, что она осмелилась мне намекнуть на мое унижение, и я, конечно, умнее бы сделала, если бы стер-

пела. Спровадить ее из дома было нетрудно. Она воровала белье у маман, и я могла бы ее подвести так, что она никогда не узнала бы после, кому этим обязана. Но я очень вспыльчива, и когда она это сказала, не помню уж, что со мной сделалось. Помню только, что я не дала ей кончить и что она убежала из комнаты вся исцарапанная, с красным опухшим лицом. Маман не было дома, но я этим не много выиграла... Няня моя прибежала ко мне испуганная... «Барышня! Что вы наделали? Зачем прибили Дуняшку? Беда! Послушайте-ка что там идет, на кухне, и как эта сквернавка божится, что донесет обо всем Анне Павловне!»

Тогда только я опомнилась, и мы с няней стали советоваться, что делать. Няня советовала сейчас заплатить Дуняшке, чтобы она молчала, но на беду у меня в портмоне нашлось всего 2 рубля, а покуда няня бегала в сундук за своими, маман вернулась и первая, кого она встретила, была эта девчонка со своим ужасным лицом. Она нарочно не вымылась, чтобы произвести полный эффект. Я ожидала немедленной катастрофы, но ошиб-

лась. Маман заперлась с Дуняшей и долго ее допрашивала, потом кликнула няню. Няня не выдержала и покаялась во всем. Я, в страхе, ждала своей очереди, но маман не позвала меня к себе в этот день. Должно быть, она догадывалась, что мне тоже известны ее грешки, и ей было стыдно.

На другой день, поутру, она пришла ко мне рано, прежде чем я успела встать, и села возле моей постели. Я спрятала от нее лицо в подушку и сделала вид, будто плачу, но я не плакала, мне было только ужасно стыдно, и я боялась, чтобы меня не отослали в семью, как маман иногда грозила, когда была на меня очень сердита за что-нибудь. Представьте же мое удивление, когда я вдруг почувствовала, что маман обнимает меня. Мне стало сперва немножко смешно, но тем не менее я была тронута, особенно когда увидела, что она плачет. «Бедное дитя! – проговорила она по-французски. – Бедная! Бедная, заблудшая по моей вине! Я не сдержала клятвы, которую я дала Богу, заменить тебе мать... Прости меня! Я больше перед тобой виновата, чем ты передо мной...»

Не помню уж, что я ей отвечала, помню только, что я все время прятала лицо у ней на груди или закрывала его руками, чтобы она не заметила, что у меня глаза сухие. Мало-помалу, однако, маман успокоилась, отерла глаза, понюхала табак (привычка, на которую горько жаловались ее любовники), и стала со мной говорить немножко иначе. Она объяснила мне, что я испортила свою судьбу. «Теперь, – говорила она, – ты не можешь уже рассчитывать на хорошую партию, так как из этого может выйти скандал, а скандал погубит тебя окончательно. Но что больше всего меня огорчает, – продолжала она опустив глаза, – это то, что мы с тобой должны расстаться. Тебе нужна другая точка опоры и более строгий присмотр, а я слишком стара и, как опыт теперь доказал, слишком слаба...»

Я не дала ей кончить, соскочила с постели, и на этот раз в неподдельных слезах бросилась перед ней на колени. «Маман! Не губите меня! – воскликнула я. – Не отсылайте домой! Что хотите со мною делайте, только не отсылайте туда!»

Она была тронута и отвечала, что сама не

желала бы этого. Она делает все возможное, чтобы пристроить меня тут, где-нибудь поблизости, чтобы мы могли видеться... Сказав это, она велела мне встать и одеться, потом усадила возле себя и стала читать наставления, особенно налегая на скрытность: зачем я не призналась ей тотчас во всем? «Счастье еще, – сказала она, между прочим, – что все это не имело других последствий!» В заключение упомянуто было слегка о моем вчерашнем поступке с Дуняшей. «Это дурно, мой друг! – говорила маман. – Надо быть снисходительною ко всем, потому что мы все люди, и все грешны».

Невзирая, однако, на снисходительность, которую маман проповедовала, Дуняшку, к великому моему удовольствию, выгнали в тот же день, и всем людям было объявлено через няню, чтобы не смели верить ей, потому что она воровка и сплетница.

Когда первое время тревоги прошло, я поняла, в чем дело. Хотя маман, по мягкосердию, и не гневалась на меня, однако мне стало ясно, что она для меня не откажется от того образа жизни, который вела до сих пор.

Она слишком свыклась с ним, а в ее годы привычка – все. Остальное само собой следовало. Она, разумеется, не желала иметь возле себя, в своем собственном доме, соперницу и вместе с тем свидетельницу своего старческого греха, а потому я знала, что, так или иначе, она постарается сбить меня с рук; но куда? И какая будет моя судьба?...

Не смея спросить, я делала тысячи разных предположений: гадала с няней на картах, ходила к ворожее, наконец написала даже чувствительное письмо к моему *последнему*, которого, разумеется, выгнали. В письме я клялась ему в неизменной любви и предлагала бежать. Он отказал. Как ни обидно было мне это в ту пору, но после, одумавшись, я была ему благодарна, потому что он был без гроша, и я пропала бы с ним вконец.

Пока я дурачилась таким образом, маман готовила мне сюрприз. К нам хаживал некто Штевич, человек пожилой и, что называется, грязненький. Он было поверенным у маман по ее делам, но кроме того, исполнял другие, случайные поручения: добывал ей мастеровых, когда случались починки, приискивал

поваров, лакеев, делал закупки и проч. Маман очень любила его за угодливость и иногда оставляла обедать, когда у нас не было никого из beau-monde [11]. В последнее время Штевич бывал у нас часто, маман запиралась с ним, и они совещались о чем-то. Я думала, о делах, но скоро начала замечать, что он на меня посматривает как-то особенно сладко, являя даже попытки к интимному разговору, которые я обрывала, отвечая, по старой привычке, сухо и коротко. Причина понятна: он был подъячий, а подъячие, в моих глазах, почти все равно, что лакеи. Маман – думала я, ласкает его, потому что он нужен ей; а мне-то что? Но я жестоко ошиблась. Вышло, что он мне нужен был еще гораздо более, чем маман... Обнаружилось это вот как. Однажды вечером, когда он пристал ко мне со своей отвратительной любезностью, я отвечала ему так грубо, что маман вспыхнула, разбранила меня при нем и заставила тотчас просить прощения. Когда он ушел, я тоже хотела уйти к себе, но маман удержала меня.

– Пстой, Жюли, сядь сюда; мне надо с тобой серьезно поговорить.

Я села с тяжелым предчувствием.

– Скажи, пожалуйста, – начала маман, – что ты имеешь против Ксаверия Осиповича?

– Ничего, маман, – отвечала я, – только...

– Что только? Отвечай прямо.

– В последнее время он стал позволять себе вещи...

– Какие?

– Да неужели, маман, вы не заметили?...

Он вот уже несколько времени смотрит на меня как-то так... ну, одним словом, так, как он не должен смотреть, и говорит мне вещи, которые... которые я, наконец, не хочу от него слышать.

Говоря это, я чуть не плакала – так мне было досадно, что маман не хочет меня понять.

– Escoute, Julie [12], – перебила маман (в торжественных случаях она всегда говорила со мной по-французски), – я, признаюсь, считала тебя умнее. Неужели ты не догадываешься, в чем дело?

Я только начинала догадываться, но отвечала решительно:

– Нет!

– Он любит тебя.

Я вздрогнула...

– Как? Штевич? Любит меня?... Этот грязный старик!... Этот подъячий!... С чего вы взяли это, маман? Разве он вам сказал?

– Да, сказал.

– И вы его не выгнали из дому?

– Нет.

Я была уничтожена...

– Послушай, Жюли, – сказала маман, подвигаясь ко мне и взяв меня за руку. – Не дурачься. Ты не знаешь людей и судишь о них очень поверхностно. Что такое «подъячий»? Пустое слово, которое ты поймала с ветру и затвердила как попугай. Ксаверий Осипович не писарь какой-нибудь. Он дворянин и коллежский асессор, служит не по найму и, кроме службы, имеет свои небольшие средства, – это во-первых. А во-вторых, он совсем не старик. Наконец, и это тоже немаловажно, я знаю его давно и ручаюсь тебе, что он человек хороший. Конечно (она тяжело вздохнула), было время, когда я желала тебе лучшей партии, но это время прошло, и ты сама понимаешь, мой друг, что теперь ты должна оставить слишком большие претензии. Честь и

доброе имя для женщины выше всего на свете, а ты рисковала бы тем и другим в замужестве за кем-нибудь из людей... – «порядочных», очевидно, она хотела сказать, но удержалась вовремя и захныкала.

Я сидела как истукан, немая и неподвижная. Руки и ноги мои охолодели.

Похныкав, маман обняла меня, поцеловала, потом понюхала табаку и продолжала:

– Если б еще ты могла остаться не замужем... Но после того, что было, тебе нельзя оставаться в девках; тебе нужен муж, человек опытный и солидный, в котором ты могла бы найти твердую точку опоры против соблазна. Подумай об этом, Жюли, подумай, как скользко и как опасно твое положение, и как мало надежды найти из него какой-нибудь лучший исход. Впрочем, я не неволю тебя, и если ты непременно хочешь, я могу пристроить тебя иначе. Можно найти тебе место в хорошем доме, – в качестве гувернантки.

– Ни за что! – воскликнула я испуганная.

– В таком случае, – сказала маман как-то сухо, – выбирай сама. Если ни то, ни другое тебе не нравится, то есть еще третье. Ты мо-

жешь вернуться в Ч**, в свое семейство. Тебя там примут охотно, потому что я отошлю тебя не с пустыми руками. Я буду уплачивать на тебя небольшую пенсию...

Я молчала в отчаянии. Она опять захныкала.

– Жаль мне тебя, Жюли, но что же делать?... Ты сама не хотела себя поберечь.

Никогда не забуду этого вечера и сцены, которой он окончился. Холодная злость грузила меня внутри. Я ломала пальцы, кусала губы, делала все на свете, чтобы удержаться, и все напрасно. Униженная, гонимая, как какой-нибудь несчастный зверек, которого нечего опасаться, я вдруг обернулась против своей гонительницы и, вся дрожа от бешенства, но с усмешкой на губах, отвечала:

– К чему вы говорите это, маман? Я не ребенок и понимаю вас лучше, чем вы воображаете. Вам стало тесно со мною, и вы хотите выжить меня; да, выжить из вашего дома, чтобы я не мешала вам!

Едва успела я это сказать, как маман вытаращила глаза, страшно разинула рот, взвизгнула и, замотав головой, опрокинулась

на диван, в истерике... «Змея! Змея! – твердила она в промежутках жалобных воплей и стонов. – Неблагодарная!... Камень!...»

При виде ее мучений на сердце у меня отлегло, и я спохватилась, что сделала страшную глупость... Увы! Это была не первая и не последняя в моей жизни...

С этой минуты надежды мои на маман рухнули, и я очутилась в жизни одна. Я поняла, что мне не на кого рассчитывать, кроме себя. Я должна была думать и действовать за себя. Это заставило меня взглянуть серьезно на мое положение. Оно было очень скверное, и я первый раз поняла, что значит пасть. Виноватая или нет, я была немилосердно наказана. Я была изгнана навсегда из того круга общества, который с детства привыкла считать своим, и мое место отныне было возле каких-нибудь Штевичей. Чувство безмерного унижения, которое эта мысль возбуждала во мне, я не могу описать. Скажу только одно: я была не из тех жалких тварей, которые покорно склоняют голову. Вместо смирения во мне родилась ожесточенная злость, и я дала себе клятву, что так или иначе, я возвращу

потерянное. Средства на это я имела не хуже других. Я была молода, весьма недурна собой и изящно воспитана, а главное: в двадцать лет я уже знала людей. Препятствия были, конечно, и очень серьезные, но одно из них существовало скорее в прошедшем, чем в будущем, и все следы его я могла изгладить разом. Для этого стоило только однажды стать под венец. Конечно, мне предстояло купить этот венец дорогою ценой. Я должна была подписать свой позор, став женой человека, для которого заперты двери во всякий порядочный дом. Но, к несчастью у меня не было выбора, и чем больше я думала, тем более мне казалось, что это еще не самое худшее. Гораздо хуже было попасть в колею гувернанства, из которой нет выхода и в которой я не имела бы ни малейшей свободы. Еще хуже уезжать в Ч**. Штевич был ненавистен мне, я его презирала от всей души, но не боялась ни на волос. Во-первых, думала я, он занят почти весь день, а я буду весь день свободна. Во-вторых, ему пятьдесят, мне двадцать. В-третьих, я барыня и всегда для него останусь барыней, а он лакей, и я не позволю ему забыть этой раз-

ницы ни на одно мгновение. Наконец, у меня есть связи в хорошем обществе, и я сделаю все, чтобы они не были совершенно оборваны. Люди не так жестоки, чтобы отнять у меня без всякой личной вины против них то, что мне дороже жизни. Они только потребуют, чтобы я заплатила за это лестью, и я заплачу. Я за ценою не постою. Я буду ползать перед теми, с кем до сих пор стояла в уровень, но я не отстану от них ни за что.

С такою решимостью я на другой день бросилась на колени перед маман, объяснив ей, что иду за Штевича, и вымолила себе прощение.

Недель через пять после того я была обвенчана.

Видали ли вы когда-нибудь павиана в клетке? Если нет, то я не знаю, как описать вам то впечатление, которое производил мой муж. Это был плотный сутуловатый мужчина с густою щеткой серых волос почти над глазами. И что за глаза! Они смотрели на вас украдкой, исподлобья, как воры... Распространяться далее о его наружности я не намерена, потому что мне, собственно, не было до нее никакого дела. Отношения наши сразу выяснились. Штевич был, разумеется, не такой дурак, чтобы взять меня с пустыми руками. Я знала, что он получил от маман деньги, и сколько именно. Поэтому, когда он заявил на меня другие претензии, я ему отвечала просто, что ему уж уплачено все, что следует. Должно быть, это не отняло у него надежды, потому что однажды, ночью, прежде чем я успела запереть двери на ключ, он имел дерзость залезть в мою спальню. Что он такое воображал – не знаю, но один взгляд на мое лицо, когда я обернулась с вопросом, что ему нужно? – заставил его извиниться и торопли-

во уйти. С тех пор он оставил меня в покое, да и я тоже его не тревожила. Я уходила из дому и возвращалась, когда мне вздумается, не говоря никому ни слова. В хозяйство его я не вмешивалась, да он и не требовал, вероятно, сообразив, что это только ввело бы его в убытки. В первое время, впрочем, мы ели и пили с ним за одним столом, но это было несносно, потому что он был ужасно скуп и кормил меня гадостью. Я жаловалась маман. Она пожимала плечами, гладила меня по голове и отвечала, смеясь: «Бедняжка! Ну, что же мне с тобою делать? Ну, когда голодна, приходи ко мне...» Но я и так обедала у нее два раза в неделю, и чаще мне, было самой неудобно. Штевичу, впрочем, сделан был выговор, и он извинялся, но это не привело ни к чему. Случались у нас с ним и личные объяснения. Раз как-то, отведав соус, который его экономка поставила передо мною на стол, я плюнула и оттолкнула тарелку. «Я не могу есть эту мерзость!» – сказала я. Он стал извиняться, ссылаясь на дорогие цены и недостаток средств. В ответ на это я напомнила ему еще раз, сколько ему заплачено, прибавив, что этого, кажет-

ся, совершенно довольно, чтобы содержать меня прилично. Он отвечал с усмешкою, что покуда оно действительно так, но что он вынужден экономить в виду будущего семейства... Это меня удивило.

– Какого семейства? – сказала я. Можете быть спокойны; у нас не будет детей.

– Не могу знать-с, – отвечал он, взглянув на меня исподлобья. И действительно, он не мог знать... но об этом после. А покуда

скажу, что я очутилась скоро в большом затруднении. Карманные деньги, которые мне подарила маман на свадьбу, приходили к концу, но она и не думала их пополнять. От Штевича я, разумеется, тоже не получала ни гроша. А между тем я выезжала и у меня было множество мелких расходов. Все это начинало меня беспокоить. «Что делать?» – спрашивала я себя. Идти просить у маман? Я пробовала, но маман была недовольна мною за обращение с мужем, который жаловался, что я третирую его en sa naille [13], и, вместо пособия, принималась читать мне мораль.

– Ты очень глупо делаешь, – говорила она, – вооружая мужа против себя, потому что

Богу угодно было соединить вас, и вы должны жить дружно. Выбей из головы, что ты не пара ему. Это вздор; он человек хороший, и вы должны быть парюю, должны любить друг друга и угождать друг другу во всем. Высокомерие ни к чему не ведет, и с моей стороны был бы великий грех поддерживать в тебе это чувство. Пойми, что ты зависишь вполне от Ксаверия Осиповича, и постарайся, чтобы он был тобою доволен; тогда и ты будешь довольна им. Он совсем не так беден, как ты воображаешь. (Я ничего не воображала). Но как ты хочешь, чтоб он заботился о тебе, когда ты его отталкиваешь?

Смысл этих речей был ясен. Маман рассчитывала, что нужда в деньгах заставит меня, наконец, помириться с моею участью и сблизит с мужем. В ее глазах это был единственный путь, на котором мне предстояло загладить сделанные ошибки. И она, очевидно, надеялась, что я, раньше или позже, вынуждена буду ступить на него. До какой степени она была права и на что я решилась бы, если б я была доведена до крайности, я не знаю, ибо до крайности, к счастью, дело не дошло.

Квартира наша была в Мещанской, под небесами, что очень меня огорчало (улица то есть, а не этаж). Мне совестно было даже назвать ее в порядочном обществе, а не то что просить к себе кого-нибудь из старых моих знакомых. Об этом я бы/не смела думать, даже если б мы жили на Английской набережной, потому что мой муж, сам по себе и по домашней своей обстановке, был верх неприличия. В квартире одна моя спальня еще была на что-нибудь похожа? все остальные комнаты, что я ни делала, чтобы придать им порядочный вид, имели в себе что-то неосяземо-пошрое, какую-то атмосферу кухмистерской или квартиры с мебелью от жильцов. Мебель была с Апраксина рынка, и все остальное по этой мерке. Тяжелый запах гераниума из комнаты его ключницы, мешаясь с запахом кухни, возле которой она жила, встречался с какой-то неуловимой вонью из мужнина кабинета, и все это, проникая в гостиную, захватывало дух... А лестница!... Но о лестнице лучше я умолчу... Дверь в мою комнату, из гостиной, всегда была заперта, и я сидела там совершенно одна, как в тюрьме. По-

нятно, что это было скучно, и я искала всякого случая исчезнуть куда-нибудь. Утром – в гостиный двор или к маман, или в церковь, а вечером – у знакомых. Последних, увы, побывало, но все же остались такие, для которых я, несмотря ни на что, была еще *chère Julie*... «*Raivge chère Julie!* [14] – говорили они, – как жестоко с тобой поступили!...» Само собой разумеется, *raivge Julie* стала даже и в их глазах контрабандой, которую не решались уже позвать ни на вечер, ни в приемный день; но в тесном кругу, между своими людьми, ей давали еще охотно место, и тут-то я, что называется, отводила душу.

Дамское общество, впрочем, служило мне больше предлогом, чем целью; я, признаюсь, всегда предпочитала ваш пол, который, с своей стороны, не оставался в долгу и платил мне более чем взаимностью. Не знаю, как объяснить вам, что именно привлекало во мне, потому что я не красавица, не ловка, и не блистала ни особенною любезностью, ни остроумием. Многие даже, я знаю, считали меня ограниченной, а между тем, без хвастовства говорю, я почти не встречала муж-

чин, которые так или иначе не дали бы мне заметить, что они от меня в восхищении. Случалось, я спрашивала об этом умных людей; они усмехались и говорили мне глупости... Но это сюда не идет, и я говорю это так, только к слову.

На первых порах я считала себя покинутою. Из старых моих поклонников не оставалось почти никого. Большую часть я потеряла совсем из виду; это была летучая молодежь кадрилей и полек. Другие, люди расчетливые, имевшие уже и прежде некоторые сомнения насчет осязаемости моих надежд, теперь совсем от меня отступились. Признаюсь, было очень обидно, но я твердила себе, что это ребячество. Я должна была знать заранее, что так случится, должна была раз и навсегда помириться с мыслию, что в новом моем положении все старые девические мечты потеряли смысл и что если мне суждено еще когда-нибудь занять почетное положение в свете, то прежний путь к этой цели теперь уже невозможен и я должна отыскать другой. Какой именно – для меня это не могло оставаться долго загадкой. Мало-помалу на месте ста-

рой свиты вокруг меня сформировалась новая. То были люди совсем другого сорта, люди, в глазах которых мое опальное положение, вместо того, чтобы казаться препятствием, служило приманкой. Я, разумеется, не обманывала себя насчет их целей и знала, что в той игре, которую мне предстоит с ними вести, весь раек на моей стороне. Но что будешь делать? Я не имела выбора или, вернее, чтобы иметь его, я уж должна была рисковать. По пословице, «волка бояться – в лес не ходить», а я должна была идти лесом, если хотела прийти куда-нибудь. И на этом пути я не могла избежать преследования, если бы и желала. Не сообщу я адреса, его узнали бы без меня; не дай позволения, его могли купить у мужа за деньги – да и купили потом.

Раз, возвратясь домой к обеду, я нашла у себя на столе визитную карточку. Это была первая ласточка после ненастной зимы, и я приветствовала ее с какой-то ребяческой радостью. Следом за ней налетели другие, а следом за' карточками стали являться и их обладатели. Квартира моя оживилась, и я стала реже ее покидать. Ште-вич, всегда исчеза-

ший поутру, знал, разумеется, все, что делалось у нас, через свою экономку, которая, кроме других безымянных обязанностей, состояла еще при мне шпионом. Лишняя роскошь, потому что я не думала прятаться. Возвращаясь домой, в четыре часа, он мог заметить не раз у своего подъезда блестящие экипажи моих гостей, видел в прихожей их верхнее платье, встречал даже их самих, когда они уходили. Но это его не смущало. Напротив, он как-то повеселел около этого времени, стал говорливее и услужливее. С панной Сузей, его экономкой, тоже произошла какая-то странная перемена. Суций черт по упрямству и дерзости, Сузя эта, до сих пор не пропускавшая случая делать мне всякие неприятности, вдруг стала ласкова и тиха как овечка. Наконец я заметила, что один из моих дорогих гостей – человек светский, встретясь как-то однажды со Штевичем на пороге гостиной, потрепал его дружески по плечу и сказал что-то на ухо... Сперва это удивило меня, потом все стало ясно. Я стала законной добычей в глазах одной стороны, и на меня, как на лисицу, устроена была травля. В глазах другой я про-

сто была товаром. Все это вместе не раз заставляло меня задумываться... «Они спешат! – думала я. – Но ты не должна спешить, потому что тебе нет никакого расчета идти им навстречу. Выжди, покуда найдешь человека, которому ты нужна не на шутку, и когда ты увидишь, что это серьезно, т. е. что он готов на все, тогда скажи ему: „Друг любезный, если ты хочешь меня убедить, что ты не лжешь, то сперва вытащи меня из этой поганой ямы. Это нетрудно, потому что ты сам знаешь: мой муж готов продать меня всякому. Выкупи меня из неволи, поставь с собою в уровень, и тогда – я твоя“. Сбыточен или нет покажется этот план, но он был у меня единственный. Я не имела другого пути воротить потерянное; мало того, я знала, что всякое уклонение в сторону от него уронит меня еще ниже и уменьшит без того уже небольшие шансы на успех.

Так думала я в ту пору, и как последствия показали, думала очень неглупо. Начиная жизнь сызнова, я полна была самых мудрых намерений. К несчастью, я упустила из виду безделицу: маленького необузданного чер-

тенка, который бродил у меня в крови... Увы, он был все тот же! Уроки, которые я извлекла из прошлого, не защитили меня от новых дурачеств. Мой темперамент опять испортил все. Как только он замешался в дело, все планы мои перевернулись вверх дном, вся мудрость рассыпалась прахом. Вместо того, чтоб выждать, я увлеклась, как дура, без толку, без выбору, первым встречным, который, что называется, приглянулся, и отдалась ему без условий. Он был человек достаточный, но не богат, не умен и не влюблен в меня. Не могу даже сказать, чтобы он до этого, мне особенно нравился. Так, просто – случай, минутная вспышка и затем месяц-другой, как в чаду. Это случилось со мною уже не в первый раз, и всегда одинаково. Ни разу еще не помню, чтобы я была романтически влюблена или просто сердечно привязана к человеку, который меня увлекал. А между тем это не было что-нибудь вялое и холодное. Это был страстный порыв, горячка, которая охватывала меня всю, с головы до ног, как огнем, лишала покоя, рассудка и доводила порой до безумия. Потом оно как-то само собой остывало, и ко-

гда я приходила в себя, мне становилось стыдно и совестно, я каялась, зарекалась, клялась, что это в последний раз, и нарушала клятву при первом же случае...

Вы видите, я с вами искренна. Я не рисуюсь ни героиней, ни жертвой, попавшейся в сети и вовлеченной неволью в порок. Но он был у меня единственный, и помимо его я не могла себя упрекнуть ни в чем особенно гадком. Правда, я получала подарки и даже деньги, но я это делала не из жадности, а по нужде. Я никогда не справлялась, богат или беден тот, кто мне нравился. Но у меня были расходы, как и у всякой: туалет, экипаж, театр и прочее – а средств никаких. Маман, которая мало-помалу совсем охолодела ко мне, читала мне очень охотно мораль, но не давала ни гроша. У мужа я и сама не хотела просить, хотя имела бы полное право, потому что он пользовался моими связями гораздо больше меня. Понятно, что он был недоволен и злился, когда я связывалась с людьми недостаточными, но я не обращала на это внимания, и, вообще, отношения между нами установились довольно мирные. Мы жили вместе, по-

тому что это было удобнее. Он мне служил прикрытием от скандала, я для него – доходной статьей, и хотя я не считала в его кармане, но должно быть аренда эта ему приносила немало, потому что, при всей своей скупости, он скоро устроил нашу домашнюю обстановку совсем иначе. Мы переехали из Мещанской на Мойку, к Синему мосту, и в новой квартире приемные комнаты, начиная с прихожей, убраны были уже весьма прилично, а мой будуар даже роскошно. Стол тоже стал сносен, то есть мой стол, потому что мы с ним давно уже обедали врознь: я совершенно одна или с кем-нибудь из гостей в столовой, а он где-то там, чуть ли не на кухне, с Сузеею и ее щенятами, и ел, должно быть, такую же мерзость, как и всегда.

III

Вас удивляет, что я, молодая и от природы страстная женщина, жила без сердечных привязанностей? Вы спрашиваете: неужели я никого не любила смолodu? Что вам сказать на это? Нет, я не урод, и у меня, так же как у других, было сердечное; только оно было не там, где вы думаете. Еще ребенком я очень любила мадемуазель Плюшо и няню; немножко тоже маман. Из этих трех впоследствии у меня осталась одна только няня, и мы с нею были большие друзья. Она журила меня иногда, но это мне не мешало любить ее. Я поверяла ей все свои тайны. Мы с нею сплетничали, сидя за кофе вдвоем, в ее комнате, гадали на картах, ходили вместе к Марфуше и совещались о наших домашних делах. Первое время после опалы особенно сблизило нас. Я часто плакала в эту пору и злилась, она утешала меня и честила при этом маман нелестными прилагательными. Замужество разрознило нас ненадолго. Она навещала меня почти каждый день и доносила обо всем, что делалось дома. Первым моим условием, когда

мы искали новую квартиру, была отдельная комната няни, возле моей. Маман и Штевич сильно противились этому, но я настояла. Мне тяжело было жить совершенно одной между чужими, противными мне людьми; нужен был под боком свой человек, которому я могла бы все выболтать, и возле которого я бы могла отдохнуть душой и телом. И няня была для меня таким человеком долго, почти до самой этой истории. Дальше тащить ее за собой я не решалась из сострадания к ней и к ее летам. Итак, одна только няня?... Да, в первое время, одна. Потом у меня был еще человек, со стороны. Мы с ним сошлись случайно. Раз, это было зимой, я оделась, чтобы ехать в театр с маман, карета которой стояла уже у подъезда, но надо было заехать за ней, и я спешила, как вдруг мне принесли записку. Она была от Н**, одного из моих отставных, который писал, что он болен, лежит без гроша, и просил что-нибудь взаймы.

– Кто это принес? – спросила я, осмотрев кругом серый листок бумаги, сложенный вчетверо, без конверта, и даже незапечатанный; сверху только стояли адрес и имя.

– Не знаю, сударыня, – отвечал лакей. (К этому времени у меня был свой лакей). – Там молодец какой-то сидит в передней.

Я вышла... В прихожей действительно сидел молодой человек, который встал при моем появлении. Он был одет бедно, в фуражке, в мизерном [15] ватном пальто и без перчаток; но, несмотря на то, его невозможно было, даже ошибкой, принять за слугу.

– Вы от Ивана Федоровича! – спросила я.

– Да-с.

– Войдите, пожалуйста.

Вместо ответа он указал с какою-то грустью на свои намокшие сапоги, давая знать, что он боится оставить следы на паркете. Я усмехнулась.

– Вы приятель Ивана Федоровича?

– Да-с.

– Он просил займы, но не пишет, сколько. Он вам ничего не сказал?

– Нет-с.

– Он очень болен?... Лежит?...

– Да-с.

– А где он теперь живет?

Он назвал улицу; это было недалеко. Мы

отправились вместе.

Дорогой я с ним заговаривала, но он отвечал односложно и как бы нехотя. Минут через пять мы были у Н**. Н** был художник, два года тому назад писавший с меня портрет по заказу для одного богатого человека. Я не видала его уже с год, и нашла в очень плохих обстоятельствах. Помещение жалкое, голь, сам болен, кругом никого. Бедняга не ожидал, что я его навещу, и так обрадовался, что я была тронута. Театр не особенно меня привлекал. Я написала маман несколько строк и отправилась с кучером, а сама осталась.

Молодой человек, который меня привез, посидев с нами недолго, вышел.

– Чай сделаете, Яснев? – сказал ему вслед больной.

– Сделаю.

Сидя с Н**, я слышала Яснева возле за перегородкой. Он ставил там самовар, раздувал уголья и звенел посудой. Потом принес все, что следует, и ушел.

– Кто это? – спросила я Н**.

– Сосед, – отвечал он. – Добряк, ходит за мной как нянька, – и далее, на мои распро-

сы. – Пошел по ученой части, да не везет; третий год без места, перебивается кое-как уроками, а по ночам пишет.

– Что ж ты его оставляешь там одного? Попроси сюда. Я хочу посмотреть... Я никогда не видала таких людей.

– Яснев! Эй! Яснев!

– Что? – спросил тот, показываясь в дверях.

– Что вы там прячетесь? Придите сюда, голубчик. Вот, Юлия Николаевна желает на вас посмотреть.

Яснев, сконфуженный, вошел со стаканом в руках и сел поодаль. Он был довольно высокого роста, но некрасив. Несмотря на то, что-то располагало меня к нему; может быть, жалость, потому что он был такой худой, бледный, похож на мученика. Н**, хотя и больной, казался богатырем в сравнении с ним и, может быть потому, разыгрывал покровителя... Мы говорили мало, Яснев особенно, что однако не помешало мне заметить, что он умнее Н**.

Несколько раз потом я заходила к Н**, чтобы увидеть его. Н** это заметил и стал подшучивать; я его выругала, и мы опять поссори-

лись; после чего я уже из упрямства прошла как-то раз прямо к Ясневу... Это его удивило; он думал, что я с какой-нибудь просьбой насчет Н**.

– Ивана Федоровича нет дома? – спросил он.

– Не знаю; я у него не была.

– Но... вы... разве не к нему?

– Нет, я к вам. Разве нельзя просто к вам?

Он смотрел мне в глаза недоверчиво, словно не допуская, чтоб это было возможно. Однако я была тут и не показывала намерения уйти.

– Что ж, вы не рады моему посещению? – сказала я. – Вы, может быть, заняты... Я вам помешала?...

Вместо ответа он протянул мне руку, и с этих пор мы стали приятелями.

Он был человек совсем особенный; ни прежде, ни после я не видала таких. Добродушен и прост до глупости; всякий, кому только вздумается, мог выпросить у него что угодно и обмануть его как ребенка. А между тем несколько не глуп, но голова у него полна была разных идей, до того странных, что, призна-

юсь, я иногда не шутя боялась: в здравом ли он рассудке. Мысли его были обыкновенно заняты чем-нибудь совершенно ненужным и что его не касалось ни на волос, а о том, что касалось, он или вовсе не думал, или если думал, то только по крайней необходимости. Он очень любил философствовать; толковал иногда до одури о разных мудреных вещах, объясняя мне, что о них следует думать и как следует жить. По первой статье я с ним не спорила, потому что я не ученая и не читала всех этих книжек, что валялись у него на столе и под столом; но когда он начинал проповедывать о житейском, я ему говорила прямо, что в этом он смыслит менее моего...

– Понять не могу, – говорила я. – Откуда у вас все эти правила и для кого они могут годиться?... Ведь это не катехизис?

– Нет.

– Так что же это такое?

Он отвечал, что это не больше, как здравый смысл.

– Хорошо; а вы как полагаете, у нас с вами есть здравый смысл?

– Надеюсь.

– Отчего же мы не живем по этим правилам?

На это он объяснил, что одному трудно, ибо один в поле не воин.

– А вы собираетесь воевать?

– Да, Юлия Николаевна, без этого ничего не поделаешь.

– Эх, вы! Горе – вы – богатырь! Ну, где вам? Вы поглядите-ка на себя. Ну, разве вы похожи на воина? Вы мухи, я думаю, во всю жизнь не одолели. У вас нет злости. Вас всякий обидит...

В этом роде у нас с ним много было говорено, и мы вообще охотно читали друг другу мораль... Ему это было с руки, потому что он был неспособен заботиться сам о себе. Когда мы стали друзьями, я взяла его совершенно под свой надзор: распорядилась в его квартире как дома, чистила, убирала, осматривала белье. Когда ему удавалось заработать себе деньжонки, я отбирала их почти целиком и вела им счет, выдавая ему только то, что действительно нужно, иначе нельзя было, потому что иначе его сейчас оберут приятели или он сам промотает на пустяки. Он жаловался,

что я обращаюсь с ним, как со школьником, но делал всегда по-моему и в сущности был благодарен мне, потому что ему нужна была нянька. От этого или от других причин он привязался ко мне, как ребенок. От посещения его отбою не было: придет, бывало, в любую пору, и торчит у меня по целым часам; накурит, наговорит всякого вздору. Впрочем, и я не оставалась в долгу. Мы были с ним откровенны, и я давно рассказала ему о себе все до последней мелочи. Бог знает, отчего мне как-то с ним не было стыдно; я могла ему все сказать почти так же смело и прямо, как няне. Только он был умнее няни и судил о вещах иначе. Его огорчало ужасно, что я так живу, особенно мое положение в доме у Штевича. Он не мог вспомнить о нем равнодушно и часто по целым часам убеждал меня выйти из этой, как он называл, кабалы, во что бы то ни стало.

– Что ж это? – говорил он. – Неужели вечно так? Но ведь это позор! Это такая неволя, что в ней дышать невозможно... Подумайте только: он вами торгует как лавочник галантерейным товаром, хуже того, как мясник...

– Ну, ну, потише! – перебила я. – Не ругайтесь по крайней мере.

– Нет, буду ругаться! – горячился он, бегая взад и вперед по комнате и махая руками. – Я должен ругаться. Я бы считал себя подлецом, если бы мог равнодушно смотреть, как вы унижаетесь... Вы, чистая!

– Не врите, голубчик! Какая я чистая? Я – блудница.

– Блудница? – повторял он с укором. – Да разве вы рождены на это?

– Да, я рождена такою. Я поняла это первый раз, когда меня коснулась рука мужчины. Я не любила его. Мне было все равно.

– Юлия Николаевна! Ради Бога! Не говорите этого. Я не могу слышать. Это неправда! Ведь вы же женщина, и у вас есть женское сердце, способное к жалости. Жалуете же других и готовы помочь им. Отчего же вам не жаль себя? Одной только себя? Это жестоко! За что вы губите свою молодость, вы, которая имеет от природы все, чтобы быть хорошо женою и матерью?...

Разговор этот был у нас почти слово в слово так, как я его вам передаю, и он остался у

меня ясно в памяти. Но странно сказать: в то время, как он увлекался до того, что горячие слезы катились у него по щекам, я слушала его молча и холодно, стиснув зубы. В сердце у меня не было той жалости, о которой он говорил, в нем была только злоба. Я злилась на Штевича, на маман, на моего первого любовника, на родителей, которые бросили меня, как щенка, на чужие руки, на то, наконец, что это все так устроилось, как будто нарочно против меня, точно как западня какая-то, с умыслом для меня расставленная, в которую я попала на первом шагу, как крыса, – безвыходно, невозвратно... Немудрено, что я и злилась, как крыса.

А он заклинал меня Христом Богом выйти!

– Да куда выйти-то? – спрашивала я с тоской.

– Бросьте его... разведитесь...

– Легко сказать! Без его согласия меня с ним не разведут.

– Заставьте его согласиться. Сделайте так, чтобы он не получал через вас ни гроша. Тогда ему невыгодно будет вас удерживать. А не то... это короче. Я пойду к нему и скажу... все

равно что, но я заставлю его, я все кости ему переломаяю!... Убью!...

– Не врите, пожалуйста! Никого вы не убьете, да и не нужно. Стоит ли Штевич, чтобы из-за него идти на каторгу?

– Так бросьте его, наконец, просто, без всяких разводов.

– А чем я буду жить? У меня нет ни копейки своей.

– Эх, Юлия Николаевна! Да чем другие живут?... Трудом.

– Каким? Я ничего не знаю и не умею. Меня готовили замуж за богатого человека.

– Вы знаете музыку, можете жить уроками.

– Да, как же! Дадут мне уроки, когда я уйду от мужа!

– Поселимся тут рядом; будем друг друга поддерживать...

– Хромой безногого?... Нет – спасибо!... Я избалована, и мне эта ваша чернорабочая жизнь не по душе. Я люблю наряды, театр; мне дорог тот небольшой кружок светских знакомых, который у меня остается еще до сих пор. Наконец, я молода и не могу жить монахиней.

Он слушал меня с тоской, и у обоих нас сердце ныло... А между тем – странно сказать – мы возвращались к таким разговорам несчетное число раз, точно как будто бы находили в них утешение.

Я любила его; да и как не любить? Он был один между всеми привязан ко мне бескорыстно; и он был, в известном смысле, дороже мне всех других, потому что он был у меня единственный; я знала, что другого такого, как он, я не найду. И если кто-нибудь мог спасти меня от моей судьбы, то, конечно, один только он. Не то, чтобы он имел на меня особенное влияние, а так, не знаю как вам сказать, пока он был возле, я еще дорожила чем-нибудь, кроме своих интересов, и мне кажется, я не так была еще зла, как после.

Я потеряла его так же нечаянно, как и нашла. Это случилось два года после того, как мы с ним сблизились и скоро после студентской истории. У Яснева было много друзей, замешанных в это дело, и он принимал в них живое участие. Далее я ничего не знала и потому не тревожилась. Однако в последнее время он стал навещать меня реже и исче-

зять куда-то по целым неделям. Раз, не выдав его дольше обыкновенного, я пошла к нему. Это было поутру в первом часу. Квартиру его я нашла запертою, что редко случалось, потому что он нанимал от жильцов и вход к нему был не прямо с лестницы, а из коридора. Было еще одно обстоятельство: на дверях у него снаружи была печать, но в полумраке я это не вдруг заметила.

На стук мой явилась хозяйка... «Кого вам?... Яснева?... Вчера увезли». И на мои встревоженные расспросы она объяснила мне хладнокровно, что у нее в номерах вчера арестовали двоих.

В испуге я бросилась прямо оттуда к двум или трем добрым приятелям с просьбой узнать, что это такое, и если можно – помочь. Они обещали все и не сделали ничего. Не раньше как через полгода я наконец получила о нем известие. Это было письмо от него самого, из Т**. Я отвечала ему немедленно и выслала деньги. После этого было еще одно письмо и затем кончено... ничего! Только по справкам я стороною узнала, что он переведен куда-то в другое место. К несчастью, око-

ло этого времени мы раза два меняли квартиру, так что если и было что-нибудь, то легко могло затеряться. Во всяком случае Яснев был для меня потерян.

IV

Около этого времени со мною случилось еще раз нечто, что изменило в моих глазах весь смысл моей жизни. Между охотниками, которые травили меня, не опасаясь сделаться из ловца добычею, многие действительно миновали этой судьбы, но наконец один попался. Это и был мой суженый, Павел Иванович Бодягин. Я познакомилась с ним на шестом году моего замужества, у Старицких, которых он только что начал тогда посещать, и была очарована им с первой встречи. Он тоже, но все преимущества были сперва на его стороне. Во-первых, я не могла ни на что рассчитывать: он был женат, и я в ту пору не знала еще ничего о ссоре его с женой. Далее, он был красавец; я не встречала мужчины более в моем вкусе: брюнет, высокого роста, статен в чертах лица что-то такое страстное и могучее; усмешка порою задумчивая, порою невырази-

мо дерзкая и презрительная. В итоге он как-то напоминал мне Демона Лермонтова, и я уже мысленно воображала себя Тамарою. Конечно, это было дурачество, и после, когда я узнала его поближе, фантазии эти исчезли, но в первое время я просто бредила им. Догадайся он вовремя, да промучь меня хорошенько, я, может статья, была бы в его руках и на привязи. Но он увлекся первый.

Он был ужасно вспыльчив и сгоряча говорил мне иной раз такие вещи, которые я не могла стерпеть, потому что я тоже не отличалась кротостью. Таким образом у нас часто бывали ссоры, которые доходили порой до крайности, стыдно сказать до чего. Но это кончалось обыкновенно тем, что после ссоры, к вечеру или на другой день поутру, я получала письмо, в котором он каялся, клялся в безграничной любви и умолял о прощении. Я редко ему отвечала, потому что я не люблю и не умею писать. Нацарапаешь, бывало, пять строк и сидишь, хоть убей, не знаешь, что дальше. Письма его смешили меня. Своею нежностью и восторженным тоном они противоречили так забавно его обыкновенно

развязному, а нередко и грубому обращению с глазу на глаз, что их можно было принять за шутку. Но как-то раз, читая одно, я призадумалась, и мне пришло на мысль: ну, а что если это серьезно? Ведь это совсем похоже, как будто бы человек теряет голову. И я стала читать внимательнее. Письмо полно было страстных признаний, ревнивых догадок, упреков и клятв, и все это так безалаберно, так мало похоже на сочинение. «Господи, – думала я, – неужели же он в самом деле... того?» Слово «влюблен» как-то утратило для меня свой смысл, а потому я заменила его другим... «Неужели он, бедняжка, попался?» – думала я, и при этой мысли чувство невыразимого торжества охватило меня. Что-то шептало мне: да, он твой, и ты можешь с ним сделать все, что угодно! Но мне как-то еще не верилось. Нужно было ощупать победу своими руками, так, чтобы в ней не оставалось сомнения.

Недолго думая, я схватила перо и написала ему в ответ: «Приходи, мне надо с тобою серьезно поговорить».

Это было поутру; он прибежал в тот же

день вечером. Но едва началось объяснение, как он вспылил.

– Так ты за этим меня звала? – сказал он в ответ на какую-то шутку по поводу его глупых ревнивых намеков. – Это твое серьезное слово? А я как дурак поверил; думал, что вот, наконец, Юше надоело шутить и я услышу от нее что-нибудь путное.

– Послушай, Поль, – отвечала я. – Хоть ты убей меня, а я не могу говорить серьезно о таком вздоре.

– К чему же ты меня звала?

– Да, вот, в самом деле: к чему? – отвечала я, усмехаясь. – Теперь, когда ты у меня это спрашиваешь, я и сама хорошенько не знаю... Так, думала: может быть, утро вечера мудренее, и ты за ночь поуспокоишься, да поумнеешь... А впрочем, если предпочитаешь дурачиться, то я тебе не мешаю. Ревнуй к кому хочешь и сколько угодно, только оставь меня, сделай милость, в покое со своими допросами. Я тебе ничего не должна и не имею перед тобой никаких обязанностей.

– Как ничего не должна? – закричал он бешено. – Что получаешь, тем и плати. Разве я

даром люблю тебя?... Если я отдаю тебе все...

– Пстой, – перебила я, – что такое все?... До меня ты имел двести любовниц, и после меня будешь иметь столько же, да вдобавок имеешь еще жену.

– Я ненавижу ее!

– Будто бы?

– Клянусь тебе честью. Мы уж два года в ссоре и не живем друг с другом.

– Помиритесь – съедетесь.

– Нет, она уезжает отсюда на днях совсем.

– Так что ж?... Завтра любой из нас может тоже уехать. Потому что мы ссоримся с тобой каждый день, и если до сих пор это еще не надоело, то может легко надоесть.

Я это нарочно сказала, чтоб он не слишком куражился. Мне нужно было дать ему наконец почувствовать, что не я у него, а он у меня в руках. И, должно быть, мои слова попали в цель, потому что он вдруг присмирел.

– Ну, полно, Юша! – шепнул он, обняв меня и притягивая к себе. – Полно прикидываться!... Ведь ты же знаешь, откуда все наши ссоры... Если бы я не любил тебя так безумно...

– Безумно, может быть, – перебила я. – Но

не серьезно. Если бы ты серьезно меня любил, ты думал бы более обо мне, чем о себе, и не стал бы меня притеснять.

– Как притеснять?

– Так... ты притесняешь меня. Ты хочешь отнять у меня свободу. А я этого не хочу, потому что я у тебя не отнимаю твоей. Живи себе как угодно, с женою или без жены, и имей помимо меня хоть целый город любовниц. Что мне за дело? Я тебе не мешаю, но не хочу, чтоб и ты мне мешал.

Это опять его вывело из себя, и он оттолкнул меня так, что я стукнулась головой о стенку дивана.

– Вишь, дьявол! – сказал он. – Я ее ласкаю, а она норовит укусить!... Говори прямо: не любишь!... Имеешь других, кроме меня? Кого?... Криницкого? Гальберта?... Признавайся!... Гальберт к тебе приходил вчера, или ты у него была; одним словом, вы виделись... Где?

– Не горячись, – отвечала я, – и не ругайся. Ты тут не хозяин и не имеешь власти вот ни на столько. (Я указала ему на кончик мизинца). Ты за серьезным словом пришел, так слушай, я вот что тебе скажу... Люблю тебя пока

любится и ласкаю покуда мне это угодно... А когда захочу – брошу. На то моя воля, и я не обязана давать тебе в ней отчет. Требуй этого у своей жены, если она еще не уехала, а я тебе не жена.

Он силился сделать вид, будто смеется, но пена была у него на губах.

– Юшка! – сказал он, весь бледный от злости. – Клянусь тебе чертом, ты доведешь меня до того, что я когда-нибудь задушю тебя своими руками!

– Немного выиграешь.

– Напротив, все выиграю. Буду кругом в барышах. Таких красавиц как ты, нетрудно найти, и товар этот дешев; но такой злючки, такой ядовитой змеи – днем со свечей не отыщешь!

Я закусила губы и поклялась про себя, что его «товар» ему дорого обойдется, гораздо дороже, чем он полагает. Но теперь рано было считаться.

– Если так, – отвечала я, – то не стоит труда и душить. Лучше просто оставь меня.

Он стоял прямо против меня и злился бесильно, как зверь за железной решеткой...

«Не знает, что больше сказать, – подумала я, – и не может решиться уйти... Ага, попался, голубчик!» – и наслаждаясь своим торжеством, я смотрела ему в лицо, не мигая, не опуская глаз. Я видела, как его подергивало от боли и как, уступая, он шаг за шагом терял свою твердость. Пытка взяла, наконец, свое. Он свесил покорно голову и опустил руки. Тогда мне стало жалко его.

– Поль! Что с тобою? – сказала я ласково. Он молчал.

– Ты сердишься?

Он посмотрел на меня, но как-то уже совсем иначе, украдкой и боязливо, словно наказанная собака, которая смотрит в глаза своей госпоже, не зная, хотят ли ее простить и приласкать или зовут только затем, чтоб еще сильнее побить.

– Поль! Милый! Ну, полно! Поди, сядь сюда. Ты устал, и я тоже... Поговорим о другом.

Лицо его просияло. Он сел, взял меня за руки и склонил свою львиную голову ко мне на колена. Мне стало как-то ужасно весело, как игроку, который вдруг выиграл очень много и держит в своих руках добычу, любуясь ею

покуда еще без всякой мысли, как с ней поступить. Я разбирала, нашептывая какой-то вздор, его кудрявые волосы. Вдруг слышу, он вздрогнул...

– Что ты?

– Ничего, – отвечал он. – Ты меня оцарапала. Но это в твоей природе. Кому Бог дал когти, тот волей-неволей царапает.

– Однако же, это больно.

– Далеко не так, как твои слова.

– Ты все еще сердишься?

– Нет... – Он приподнялся и обнял меня. – Знаешь что, Юша? – сказал он. – Мне это нравится, что ты такой бес. Если бы в тебе этого не было, я бы тебя измял и бросил, как я бросал других. Но ты вцепилась своими когтями мне в сердце, и как мне ни больно, а я не могу его оторвать. Мучь меня сколько хочешь... я твой!

И я его мучила, хотя это было небезопасно, и мне доставалось за это крепко подчас, но с ним иначе нельзя было. Если бы я позволила ему успокоиться, он бы меня разлюбил... Вы все такие. Вам дорого только чужое, краденое, и только пока вы дорожите, чтобы у вас его

не отняли. А между тем вам досадно, что вы не полный хозяин над женщиной, и вы не можете успокоиться, пока не наступите ей на горло. Этого, кажется, и хотелось Павлу Ивановичу. Ему хотелось бы стать для меня чем-то вроде султана, то есть иметь возможность меня задавить или утопить из-за малейшего подозрения. Не для того, понимаете, чтобы действительно это сделать, а так, из амбиции, чтобы я боялась его и ползала перед ним как собака. Добейся он этого, и я уверена, что он любил бы меня не больше собаки; но он не мог добиться, и это привязывало его ко мне.

Ссоры и сцены вроде рассказанной привели, между прочим, к тому, что мы с Полем отлично друг друга поняли. Я поняла, что ему не терпится приобрести надо мной неограниченные права, а он убедился, что я не позволю закабалить себя безвозмездно. Конечно, я прямо не называла ему вещей, но я водила его так часто около, что он не мог ошибиться насчет их смысла...

– Если бы у меня, Поль, – твердила я, – была, как у тебя, только одна забота, сердечная, то я не оглядывалась бы по сторонам. Но как

ты хочешь, чтоб я располагала собой, когда я не знаю, что со мной будет завтра? У меня нет ничего собственного: ни дома, ни имени, ни положения, в котором я могла бы признаться перед людьми, не краснея. Я тут живу как в трактире. У меня не бывает никто из моих знакомых, кроме мужчин. Наконец, всех этих вещей не скроешь. На меня уже многие косо посматривают, и если не все отвернулись, если меня еще кое-где принимают, то больше из жалости и по старой привычке. Неужели ты думаешь, что я могу помириться с таким положением и не брошу всего, не пойду без оглядки за первым, кто бы он ни был, кто только протянет мне руку, чтобы меня спасти?... Нет, Поль, если ты любишь меня не шутя, то ты должен... и прочее. Я не указывала ему, что именно он должен, но это было так ясно, что он не мог не понять.

– Юша, – сказал он однажды, – если бы мне только отделаться как-нибудь от этой... (под... он разумел жену), я был бы счастливейший человек на свете. Потому что тогда мы Штевича побоку, и под венец. С деньгами это легко устроить, и это меня не разорило бы, пото-

му что делишки мои, слава Богу, теперь пошли недурно.

– Ах! Поль, – отвечала я, – какое бы это было счастье!

С тех пор мы толковали об этом счастье почти каждый день и строили планы. Серьезных препятствий, по нашим расчетам, нельзя было ожидать. Поль говорил со Штевичем, и они чуть ли уж не сошлись в цене. (Как оказалось после, это была большая неосторожность, но мы не знали еще в ту пору, к чему мы будем вынуждены). Жена Поля уехала в Р** навсегда, как она уверяла его в прощальном письме, и мы имели все основания думать, что она примирилась со своей участью...

Пора однако сказать об этой особе несколько слов. Поль отзывался о ней ужасно нехорошо и всегда с раздражением, судя по которому можно было предполагать, что она не просто ему надоела, а вывела его из терпения чем-нибудь очень крупным. Но я, признаюсь, не очень-то ему верила, потому что, во-первых, не могла от него добиться, в чем именно состояла ее вина. Всякий раз, что я заговари-

вала об этом, он выходил из себя и начинал ругать ее как извозчик. А во-вторых, он был вообще изменчив и очень несправедлив в своих суждениях. Прибавьте к этому, что я слышала не раз о красоте этой женщины и о том, что Поль до женитьбы был страстно в нее влюблен. Все это долго сбивало меня в моих догадках, и толь -ко под самый конец, когда мне довелось увидеть ее, я поняла, в чем дело. Скажу вам правду: за нею не было никакой серьезной вины, кроме дурачества и упрямства. Это была очень добрая, но жалкая женщина; худая, больная, расстроенная как старый рояль, до которого не дотрагивались лет десять; одно из тех сладеньких жидких созданий, которые льнут к вам как патока, если вы их хоть чуточку приласкаете, и которые добродетельны поневоле, потому что в них плоти нет, греху негде укорениться. От красоты ее, если и было что, немного осталось. Когда я ее увидела, я не хотела верить, что это она, так непохожа она была на ее портрет, который остался у Поля и который был сделан с нее перед свадьбой. А впрочем, Бог с ней, я не хочу порицать ее без нужды,

одно только скажу: я не могла винить и Поля. Напротив, я удивлялась его терпению... Зато уж он и честил ее... «Вот, – говорит, – связался с этою...! Теперь поди, кланяйся, упрашивай Христа ради, чтоб отпустила!»

Они были в переписке, и дело шло о разводе. То есть Поль хлопотал об этом, а она не хотела. О, если бы она могла угадать, чем это кончится, от какого греха избавила бы она всех нас! Но она ничего не предчувствовала. У ней до конца оставалась какая-то глупая ребяческая надежда, что когда-нибудь, так или сяк, дело это уладится, и что для этого надо иметь только терпение, не разрывать ничего окончательно. Ему она, разумеется, не писала этого; самолюбие и расчет заставляли ее объяснять свой отказ другими причинами, но я это знаю наверно, потому что» я с нею имела дело сама, и со мною, глаз на глаз, ей трудно было хитрить. Она не знала людей и была доверчива как ребенок; лаской и поцелуями от нее можно было все выведать и, может быть, все получить, кроме того одного, чего мы хотели. Тут она уперлась, ни с места, и при всей своей простоте целый год водила нас за нос.

Ответы ее Павлу Ивановичу были так ловко написаны, что могли бы сбить с толку кого угодно. Казалось, она или не понимает, в чем дело, или боится скандала, или колеблется и не может решиться. Короче, можно было предположить все, что угодно, кроме того, в чем она не хотела признаться, т. е. что с первого слова и до последнего, решение ее было принято невозвратно. Она не хотела этого ни за что. А мы с Павлом Ивановичем строили планы, соображали, рассчитывали, как бы уладить все так, чтобы ни минуты у нас не пропало даром. На первых порах особенно мы не могли представить себе, чтобы она имела какой-нибудь интерес затягивать это дело. Вопрос казался так ясен; выгоды для обеих сторон так несомненны. Но время шло, а дело не двигалось. С каждым письмом из Р** нам приходилось откладывать исполнение наших надежд надолго. Это было мучительно. Я злилась и падала духом, Поль выходил из себя. Ему все мерещилось, что я имею другие связи. Если бы дела не отрывали его, он, кажется, глаз бы с меня не спустил, ходил бы за мною следом, как тень, или торчал бы безвы-

ходно у меня в будуаре. Схитрив, бывало, уйдет, сказав мне «до завтра», а через час смотришь, вернулся! «Чего ты?» Он сочинит какой-нибудь вздор и опять вон. Это было смешно и, если хотите, пожалуй, успокоительно, а между тем я не могла быть спокойна. Я знала его. При всей своей пылкости он был ненадежен; за него на три дня нельзя было поручиться. Сегодня готов молиться на женщину, а завтра подметит у ней что-нибудь, какой-нибудь прыщик на подбородке или от насморка обметало губы, или не приведи Бог, увидит где-нибудь, в комнате, пузырек с лекарством, сейчас уж его коробит: начнет плечами подергивать, морщится, сядет поодаль, не высидит, вскочит, возьмет шляпу, повертится и уйдет. Это, само по себе, конечно вздор, который скорее смешил меня, чем тревожил, но этот вздор давал мне мерку, чего я могу ожидать при случае. Здоровье у меня, слава Богу, крепкое, но, думалось, все же ведь я не из бронзы, могу захворать как и всякая, могу исхудать, подурнеть. «Тогда, – думала я, – легко может случиться, что я ему опротивлю, как опротивела эта несчастная, и он променя-

ет меня на другую. Тогда всем надеждам конец: я останусь одна, на всю жизнь, составлюсь в доме у этого человека Штевича, который, конечно, не страшен, пока получает с меня оброк, но когда это кончится (а когда-нибудь да должно же кончиться), и у него не будет больше причины щадить меня, тогда мое дело плохо. Он заберет меня в руки, оставит без гроша, будет держать как кухарку, в грязи и в загоне...» Мысль о подобной будущности ужасала меня; а между тем в ней не было ничего химерического, напротив, я знала, что мне не миновать этого, если я оплошаю.

«В чем же, однако, я могу оплошать? – спрашивала я себя. – Кажется все возможное делается, если уже не сделано, стало быть остается только одно: ждать. Но чего?... Вот уж который месяц дело ни из коробу, ни в короб. Надо же наконец решить, чего мы ждем?»

Несколько времени я молчала об этом, из страха, чтобы Поль, который и так уж терял терпение, не вышел совсем из себя и не наделал каких-нибудь глупостей. Но осторожность моя оказалась напрасна, потому что он

скоро и сам пришел к тому же.

– Юша, – сказал он однажды, – мне сдается, что мы с тобой воду толчем.

– Да, – отвечала я, – похоже на то.

– Баба моя отвиливает, – продолжал он, – и письмами мы от нее ничего не добьемся. Мне думается: не лучше ли съездить к ней самому?

– Зачем?

– Так... припугнуть... сказать, что если она не согласна на то, что ей предлагают, то чтобы сейчас возвратилась; что я ее увожу с собой.

– А ты уверен, что она не желает этого?

Он замолчал, но, судя по лицу, эта идея смутила его.

– Может быть, – продолжала я, – она совсем не так испугается, как ты думаешь? Может быть, она скажет: ну, что ж делать, если ты непременно хочешь, то увози.

Он топнул ногой.

– Да, – отвечал он, – ты права. На эту тварь нельзя рассчитывать.

Мы замолчали.

Спустя несколько времени он пришел ко

мне мрачный и раздраженный.

– Что с тобой, Поль?

– Ничего.

– Ты получил письмо?

– Нет... Да и черт с ними, с этими письмами! Что от них проку?... Я больше не буду писать...

– Совсем?

– Да, совсем.

Я смотрела ему в глаза, желая узнать, что у него на душе; но он молчал и хмурился.

– Что же дальше? – сказала я.

– А дальше то, – воскликнул он бешено, – что это невыносимо! Надо иметь рыбью кровь, чтобы ждать, как мы ждем, без срока и сами не зная чего!... Надо решиться на что-нибудь... Надо... я просто теряю голову!

– Эх ты, герой! – сказала я. – Куражился издали, пока дело казалось легко, а как оно село тебе на плечи, так и струсил.

– Как струсил? Ты шутишь?

– Нет, не шучу.

– Да чего же ты хочешь, чтоб я с нею сделал? Скажи прямо.

– Мне тебя не учить, – отвечала я. – Ты с

нею жил два года; ты лучше знаешь.

– Ну да, положим, только ты все же скажи... Взять ее, что ли, оттуда и привезти сюда?

– Зачем?

– Не знаю... Но что-нибудь надо же сделать, и так как я не могу возиться там с нею, в Р**, то я не вижу, что более остается. Может быть, здесь она скорее поймет, что она у меня в руках и что я могу принудить ее к разводу, если уж на то пойдет. Одним словом, если она хочет идти наперекор, то и я пойду ей наперекор; если она портит мне жизнь, то и я ей испорчу. Я ее так прижму, что она согласится на все... А?... Как ты думаешь?

План этот не нравился мне по многим причинам.

– Я думаю, – отвечала я, – что это затянется еще года на два и может окончиться дурно. Она больная женщина; случись что-нибудь, скажут, что ты уморил.

– А черт их возьми! Пусть говорят!... Умрет, так умрет, сама виновата... К тому же, она и там, пожалуй, недолго протянет. Старуха, помнишь, писала, чтоб я ее пощадил, что она

серьезно больна.

Письмо, о котором он говорил, было от тещи его. Оно пришло весной, в начале марта, и, помню, произвело на меня неприятное впечатление.

– Ты меня удивляешь, Поль, – отвечала я. – Скажи, пожалуйста, неужели тебе вовсе не жаль жены?

Он посмотрел на меня как-то странно...

– Жаль? – повторил он. – Да, жаль, что она не умеет жить и делает для себя из жизни пытку. Это печально, но надо же наконец убедиться, что это так и что в ее положении, с ее несчастным характером жизнь ей не может дать впереди ничего, кроме страдания. Простой здравый смысл, стало быть, заставляет желать, чтоб это скорее кончилось. Но ваша бабья, сентиментальная жалость судит иначе. Вы охаете и причитаете, когда человек умер, точно как будто бы хуже этого с ним не могло и случиться... А вы бы спросили: лучше ли для него, если бы он остался жив? Потому что хотя оно некрасиво, конечно, лечь носом кверху, но иногда это единственное, что остается сделать.

Мне было как-то не по себе от этих речей, словно предчувствие, что они не приведут к добру.

– По-твоему, стало быть, надо желать ей смерти? – сказала я.

– Да, – отвечал он, – в собственном ее интересе.

– Ну, – заметила я, – отчасти и в нашем.

– Отчасти, конечно, и в нашем.

– И это не грех?

– Нет.

– Но после этого и уморить ее будет не грех?

– Как уморить?

– Да не все ли равно, как? – отвечала я. – Дело не в способе, а в том, к чему оно ведет... Если ты ее привезешь сюда, и она здесь зачахнет...

– Так что же?

– Как что, Поль? Это то же, как если бы ты ее утопил или зарезал.

– Ты думаешь?

– Да, полагаю даже: последнее было бы легче для ней.

– А кто ж ей велит выбирать тяжелое? –

воскликнул он вдруг с невыразимым ожесточением. – Кто ей велит лезть в петлю, когда я ей предлагаю свободу? С чего мне ее топить, если бы она сама не хватала меня за горло? И разве она не топит нас? Не отнимает у нас нашего счастья?... Ты, может быть, смотришь на это шутя, а я не могу шутить, потому что ты мне нужна. Твое положение, здесь у Штевича, сводит меня с ума! Я днем и ночью думаю, как бы скорее вытащить тебя из этой поганой ямы, в которую тебя втолкнули и в которой никто до сих пор не подал тебе руки... Восстановить тебя назло всем, повесть тебя под венец и в глазах целого света назвать своею женою, своею милою – вот счастье!... И знать, что это счастье зависит от одного слова ее!... И думать, что эта тварь не хочет его сказать!... О! Если б можно было убить желанием, я бы убил ее!... Вы, конечно, догадываетесь, что на душе у меня было далеко не так спокойно, как я старалась показывать Полю. Но я была вынуждена хитрить, потому что игра между нами шла слишком неровная. Он, в сущности, рисковал очень немногим, а я рисковала всем. Но он увлекался и не владел со-

бой, а я владела, и это, с другой стороны, давало мне перевес, которого я не желала терять.

VI

Тревожные мысли лезли мне в голову после таких речей. Многое в них, правда, было не ново, но тон их был нов и придавал самым простым словам какой-то зловеций смысл.

«Да, – думала я, когда он ушел, – дело не обойдется так гладко, как мы рассчитывали. Письмами мы от нее ничего не добьемся. Что же, однако, с ней делать? Неужели, в самом деле, привезть сюда, как он говорит, и здесь вынудить у нее, во что бы то ни стало, согласие?» С этим вопросом я долго возилась после его ухода, и он мне не дал уснуть до утра. Чего только я не передумала, лежа в постели, и мысленно представляя себе, как это будет, если Поль в самом деле привезет ее сюда? «Нет, – наконец решила я, – это вздор!... Это он так, не подумав, сболтнул. Его не хватит на это, потому что я знаю его: он вовсе не зол, он только вспыльчив, а этого-то тут и не нужно. Тут нужен лед, надо рассчитывать каждый шаг, и надо быть камнем, чтобы выдержать

свою роль до конца; иначе выйдут только пустые жестокости. Положим, он увезет ее – это не трудно, потому что она, может быть, и сама не прочь; ну, а дальше что?... Дальше, всего вероятнее, будет ни то, ни се. Дело затянется, пойдут упреки и слезы, истерика, обмороки, ему станет жалко, и он не решится на крайности, а наделает только шуму, потому что таких вещей не скроешь; она будет жаловаться родным, те разнесут по городу, и все в итоге обрушится на меня. На меня станут пальцем указывать, скажут, что я всему виновата, что я его подстрекаю... Нет! Это вздор, о котором и думать не стоит».

И я тревожно оглядывалась, стараясь найти что-нибудь, о чем бы стоило думать... Нет! Ничего?... «Однако, – думала я, – если так, то чем же это окончится?..»

Увы! В ту пору я начала уже догадываться, что это грозит окончиться очень дурно и что развязка недалеко. В неизъяснимом смущении я возвращалась назад и спрашивала себя опять: что делать? Ответа не было, или, вернее сказать, я отбрасывала поспешно в сторону, как негодные, ответы, которые в сотый

раз попадались мне под руку. Кидала, кидала и приходила опять к тому же: «Нет выхода! Женщина эта стала мне поперек дороги. Она помеха всему, и помеха напрасная, потому что она не может воспользоваться тем, что у меня отнимает. Конечно, она не знает, что я существую, но все же должна бы понять, что Поль добивается от нее развода недаром и что ее дурачество может кому-нибудь дорого обойтись. Больная и нелюбимая, без всякой разумной надежды на счастье, она может сделать своим упорством только одно: погубить меня, и погубит, если это протянется. Рассчитывать, что она образумится и уступит, не так же ли это глупо, как положиться на то, что ей остается недолго жить? И то и другое, конечно, может случиться со временем, но мне некогда ждать этого времени... Как бы ни рано оно пришло для нее, для меня оно может прийти слишком поздно. Потому что я не могу полагаться на Поля. Поль может меня разлюбить и бросить во всякую пору... Тогда все кончено, и мне остается только одно из двух: или увязнуть тут на всю жизнь, или...»

Конец моего заключения уходил в потем-

ки, в которых таилось что-то зловещее. Я с ужасом отворачивала глаза, старалась не видеть, не думать, и все-таки думая. Мне думалось, что которая-нибудь из нас двух должна погибнуть, и что если она не умрет вовремя для моего счастья, то я, весьма вероятно, должна буду умереть гораздо раньше, чем я бы желала. «Что ж, – думала я, – я не первая. Многие так кончают, особенно те, кто, как я, заблудился смолоду... Вертят, вертят и довертят, наконец, до того, что больше нечего делать, как, говоря словами Поля, «лечь носом кверху». Конечно, до этого еще далеко и, может быть, никогда не дойдет. Может быть, все развяжется как-нибудь неожиданно счастливо. Но если нет?... Если я потеряю Поля и с ним все надежды на выход из моего несчастного положения? Если когда-нибудь, всеми покинутая, я стану в уровень с Сузей, стану соперницей Сузи... и буду вынуждена искать, как милости, того; что в первые дни замужества я оттолкнула с презрением; тогда...»

И я еще думала: «Как это люди решаются на такое дело? Сразу или не сразу? И что они чувствуют, когда уж решились? Очень ли это

страшно или так себе, не особенно? И каются ли они, когда уже сделано то, чего никакими средствами не возвратишь? И каково это, когда ждешь, что вот, вот, сию минуту все кончится? Это, должно быть, страшно, и лучше бы этого вовсе не знать. Лучше бы так, сразу, вдруг, как в обмороке...» Со мной никогда не бывало обморока, и я не могла представить себе, что это такое, но был один случай, когда я, по собственной глупости, чуть-чуть не отправилась на тот свет.

VII

Это было давно, лет шесть назад; вверху над нашей квартирой, была фотография. Хозяин ее, холостой угорелый француз, с которым я иногда встречалась на лестнице, вздумал воспользоваться правами соседа, и как-то однажды явился с вопросом: не может ли он мне чем служить? Я оглядела его с головы до ног и отвечала, что мне нужны карточки. Но карточки, разумеется, тут были только предлог. Он был красив и молод, и мы сказали друг другу глазами совсем не то. Знакомство наше перешло скоро в интимные отношения.

Живя почти рядом, мы виделись часто. Он забавлял меня своей болтовней. После обеда, когда у него кончался прием, я приходила к нему и, чтоб не мешать, сидела в его лаборатории. Сначала мне это было трудно, потому что там пахло разного рода снадобьями, без которых в его ремесле нельзя обойтись. Но любопытство быть посвященной в тайны этого ремесла оказалось сильнее первого отвращения. Мало-помалу я так привыкла к запаху, что иногда, из шалости или когда его помощник был слишком занят, сама помогала ему. Первый раз, когда я на это отважилась и, засучив рукава, принялась за дело, он очень смеялся чему-то, но не сказал – чему. Я думала – моему неумению, потому что, действительно, я принялась за дело очень неловко и перепортила почти все, что мне было поручено; но оказалось другое. Не успела я кончить, смотрю: руки мои, вплоть до локтей, в каких-то рыжих, с сизым отливом, пятнах. Я так и ахнула. «Боже мой! Что это?» А он хохочет: «Ничего, вымой». Я к умывальнику – мыть; не тут-то было! Проклятые пятна только еще яснее выступили. В ужасе я протянула к нему

обе руки. Он кинулся передо мной на колени. «Жюли! – говорит, – прости! Я пошутил. Я сейчас тебе это отмою». Схватил меня за руки, накапал чего-то из пузырька, который стоял тут же на полке, потер, и в самом деле пятна, одно за другим, исчезли. Тогда он объяснил мне откуда они и чем отмываются, прибавив, что это последнее средство – яд, с которым следует обращаться весьма осторожно, чтоб не попало в рот или под кожу, если на коже есть что-нибудь, ранка или царапина. Но я так обрадовалась, что руки мои спасены, и так усердно занялась мытьем, что едва обратила внимание на эти слова. Несколько дней после этого я не решалась дотронуться ни до одной посуды, но мало-помалу мой страх прошел, а шалость и любопытство, вместе с желанием выучиться хоть раз в своей жизни чему-нибудь путному, воротились, и я принялась опять за дело. Та часть его, которую мне доверяли, была нетрудна. К концу недели я знала ее уже настолько, чтобы не портить больше вещей и не пачкаться так безобразно, как это случилось при первом опыте, а небольшие пятна на пальцах, от которых да-

же и мой француз, щеголявший ужасно своими ногтями, не мог уберечься, более не пугали меня, с тех пор, как я выучилась сама их выводить. Случалось, однако, что в лаборатории, где окна всегда были завешены и работа шла при свечах, чего-нибудь не досмотришь. Тогда надо было бежать наверх и всегда самому, потому что он не решался доверить мне своего состава. Это мне надоело, и я сказала себе, что обойдусь без его позволения. Я знала уже наперечет все его снадобья, так что могла отыскать их сама, когда они были нужны. Некоторые «стояли в лаборатории на полках и на полу, но главный запас хранился в чулане, куда я имела свободный доступ. Состав, которым мы отмывали пятна, был тоже там, сухой, в кусочках молочно-белого цвета. Когда он нужен был, его брали немного и разводили в воде. Но, разведенный, он скоро портился; поэтому я приготовила маленький пузырек и первый раз, когда попала в чулан, насыпала его полный. Они ничего не заметили, а я не истратила и двадцатой доли украденного.

Таким образом эта вещь почти целиком

осталась в моих руках, но я не знала еще ее опасных свойств, пока совершенно нечаянно не испытала их на себе. Раз, воротясь домой от моего француза, я посмотрела в зеркало и заметила у себя над губами пятнышко. Это был след адского камня, но как он сюда попал, я понять не могла: должно быть, брызнуло, или я дотронулась чем-нибудь до лица. Я вывела это, растворив тут же, в воде, маленькую щепотку из моего запаса. Но должно быть попало в рот, потому что обыкновенно слабый запах горького миндаля на этот раз показался мне очень силен, и во рту я почувствовала какой-то приторный жгучий вкус. Это немножко меня встревожило. Я выплюнула, выполоскала сейчас же рот и умыла лицо... Стою, утираюсь, и вдруг, ни с того, ни с сего, пошатнулась. Тогда только я заметила, что мне как-то не по себе и что я уж с минуту только и делаю, что глотаю или выплевываю слюну. При этом какое-то странное чувство слабости, которое доходило почти до дурноты... Хочу идти, ноги дрожат и подкашиваются. Шатаясь, я добрела до постели и позвонила. Вошла моя няня. «Няня, – говорю, – мне

что-то очень нехорошо. Пошли скорее за Карлом Федоровичем».

Карл Федорович приехал к ночи. Это был доктор маман, старик, который знал меня с детства и за что-то всегда очень жаловал. Когда он приехал, я была уже почти здорова, но ноги еще не держали. Он долго меня допрашивал и, узнав, чем я отмывала губы (я сочинила ему, что будто я это сделала наверху, в лаборатории), значительно покачал головой.

– Какое дурачество! – произнес он. – Знаете ли, чем вы рисковали? Еще немного, и вы бы меня никогда не дождались. Вы могли умереть через четверть часа, через пять минут, мгновенно!

– Ну, а теперь? – спросила я, немного испуганная.

– Теперь, – отвечал он с усмешкой, – благодарите Бога; вы счастливо миновали беды... – И он велел мне выпить рюмку вина.

С тех пор я перестала употреблять это средство как слишком опасное, но уничтожить его не решилась. Напротив, я берегла его, как талисман, и иногда разглядывала с каким-то ребяческим любопытством, не чуждым стра-

ха и тайного уважения. Я словно предчувствовала, что талисман этот может когда-нибудь сослужить мне другую службу... И он сослужил.

VIII

Когда и как пришла мне первая мысль об этом? Выросла ли она незаметно, как вырастает дурная трава из дурного семени, или родилась, как змея от змеи, живая?... В последнем случае я знаю ее отца. Это был Поль. Он поставил вопрос так, что его невозможно было решить иначе, и он же свалил на меня весь риск, всю тягость решения... А впрочем, Бог с ним; я его не виню. Ему, конечно, труднее было исполнить это, чем мне, и в тысячу раз опаснее.

После тех объяснений с ним, которые вам известны, я уже чувствовала, что это должно развязаться скоро, но мне еще и во сне не снилось – как. На первых порах, повторяю, задача казалась просто неразрешимой. Потом я стала догадываться, что есть решение, но каждый раз, когда я спрашивала себя: «Какое?» – на меня нападал безотчетный страх. Я

словно боялась, чтобы мысли не увлекли меня слишком далеко, и старалась не думать о некоторых вещах. Я твердила себе усиленно: брось это, в эту сторону ты не должна смотреть, потому что там кроется что-то ужасное. К несчастью, это легче сказать, чем исполнить. Мысли не только вас не слушают, но даже, назло вам, пойдут как нарочно в ту сторону, куда вы запрещаете им идти. Отчего это, я не могу объяснить, но мне сдается, что тут есть ошибка. Мне что-то сдается, что если мы себе запрещаем думать о чем-нибудь, то мы только себя обманываем, воображая, что мы еще не думаем, между тем, как на самом деле мы уже думали. Так было, по крайней мере, со мною. Были такие вещи, которые, наперекор самой твердой решимости, упорно лезли мне в голову. То, что я отгоняла от себя, не уходило прочь, а только стояло поодаль, как кошка, которая ждет за дверьми, чтобы кто-нибудь, проходя, отворил их, и как только я забывала, что оно не должно быть тут, оно уже было тут. Это было несносно, и у меня, наконец, не хватило терпения. Раз как-то, на даче, в ненастную летнюю ночь, мне не спа-

лось. Измученная напрасною борьбой, я опустила руки; дверь отворилась сама собой, и черная кошка прыгнула ко мне на грудь... С тех пор, до самой зимы, она не покидала меня, да и я не гнала ее уже прочь. Я с нею свыклась, кормила ее, ласкала и холила. Вы понимаете, я говорю это так, только к слову. Собственно, это была не кошка, а мысль, черная мысль, что если одна из нас должна отвесть того, что лежит у меня в пузырьке, так уж пусть лучше она. Потому что ей это легче будет. Она умрет без страха, не зная, даже не подозревая, что смерть близка, а я не могу умереть, не зная, что умираю.

Мысль эта, однако, была не больше как мысль, потому что я не могла ни на что решиться без Поля, а Поль, хотя и нетрудно было понять его намеки, все как-то еще не договаривал. К тому же лето этого года прошло для него в больших хлопотах и в разъездах. Одно из главных его предприятий было почти окончено. В мае он получил на него концессию, но предвидя какие-то затруднения, торопился ее продать. Успех был так важен для нас обоих, что я сама уговаривала его за-

быть все на свете и думать только об этом одном. Таким образом с мая до августа я почти не видала его, но это меня не тревожило. Письма, которые я от него получала, могли успокоить самую недоверчивую любовь, – так они были нежны и страстны. Жаль, что я не могу показать вам их в подлиннике (скоро после того я сожгла у себя все до последней строчки). Но иные места я помню почти слово в слово. Вот, например, одно:

«Прелесть моя! – писал он в июне. – Жду не дождусь твоего письмеца, и среди бесконечных хлопот, которые здесь, в этом поганом гнезде, разрывают меня на части, бегаю беспрестанно на почту. Дело идет о полумиллионе, и от успеха зависит вся моя будущая судьба, а я вместо того, чтобы думать об этом, думаю только о тебе. Днем и ночью вспоминаю часы неопisanного блаженства, которые я проводил в твоих объятиях, такого блаженства, которое только ты одна можешь дать... Идол мой! Если бы ты знала, как я несказанно тебя люблю! Милый портрет твой (фотографический) не покидает меня ни на одно мгновение, и теперь, когда я это пишу, он лежит

передо мной на столе. В страстной тоске смотрю на него и считаю дни, которые нас разлучают...» и прочее.

А две недели спустя он писал еще: «Что бы ни ожидало меня впереди, но ты моя неизменно и на всю жизнь, не правда ли? Успокой меня, поклянись, что ты никогда не будешь принадлежать другому. Я же клянусь тебе, что готов на все и сделаю все, все (понимаешь ли?), чтобы уничтожить единственное препятствие, нас разлучающее! Да, я уничтожу ее... и средства найдутся... Ты мне поможешь найти их... не правда ли?» и т. д.

Когда он вернулся, это было в начале августа, я тоже готова была на все и давно уже, с трепетным нетерпением, ждала этой минуты.

После первых восторгов встречи, заставивших нас забыть все на свете, мы взялись за руки и долго смотрели друг другу в глаза. Лицо его показалось мне бледно и озабоченно. Но я не решилась прямо заговорить о том, что лежало у меня так тяжело на душе.

– Ну, что же, можно поздравить? – спросила я.

– Можно.

– Как? В самом деле? Кончил?... Совсем?...

– Совсем... Остаются пустые формальности, за которыми надо, однако, ехать еще раз, в конце этого месяца... Черт их возьми! Надоели они мне!... Но это в последний раз.

– Получил все, разбогател? Лицо его вдруг просияло.

– Да, Юша, – отвечал он, обняв меня, – получил все и могу сказать, что мы с тобой теперь обеспечены.

– Мы? – повторила я, заглядывая ему в глаза.

– Конечно, мы!... Кто ж, как не мы?

– Но это... это препятствие, Поль, о котором ты мне писал, что ты... его...

– Жена-то?

Поль замолчал и потупился.

– Ты что-нибудь придумал? – спросила я. Он медлил ответом.

– Нет, – произнес он нерешительно, – но думаю об этом очень серьезно и думаю. Дело, вот видишь ли, в том, что покуда она жива, мы ничего от нее не получим.

– Ну, да, – отвечала я. – Это ясно, но что же из этого следует?

– А ты как полагаешь, что? – шепнул он, пристально вглядываясь в мои глаза.

– Не знаю, – отвечала я, – только ты мне писал, помнишь, что ты готов на все, и хотя бы для этого надо было...

– Все дело в решимости... Юша!... Готова ли ты?

– Готова, – шепнула я, тяжело дыша. Он обнял меня.

– Я в тебе не ошибся, – сказал он. – Ты моя героиня!... С такою женщиной, как ты, нет ничего невозможного!

– Все это слова, Поль, – отвечала я, – которые нас ни на шаг не подвинут, если мы сами не двинемся... Что можем мы с нею сделать отсюда, за тысячу верст?

Мы молчали.

– Я думал об этой задаче, – сказал он мину- ту спустя, – и, признаюсь, до сих пор не нашел решения. Сюда ее привезти опасно. Поручить некому. Остается одно: ехать туда и там это сделать.

– Ты не был там?

– Нет.

– Поедешь?

Лицо его как-то странно осунулось; он потупил глаза и долго не отвечал.

– Поехал бы, – произнес он глухо, – да только не знаю, что я там буду делать, потому что явиться открыто и думать нечего; это безумство. А приехать туда тайком я не могу. Меня на всем пути, от Петербурга до Р**, знают в лицо.

– Ты трусишь! – воскликнула я в отчаянии, догадываясь, к чему это клонится. – Ты, смелый и сильный, хочешь свалить все на женщину, на меня!

– Тише! – шепнул он, опять оглядываясь. – Уйдем отсюда. Здесь нельзя говорить о таких вещах.

Мы вышли в парк. Он стал горячо оправдываться...

– Ты вовсе меня не понимаешь, Юша, – сказал он, – или считаешь меня за подлеца, если думаешь, что я желаю свалить с себя риск. Клянусь тебе честью, нет! Если бы нужно было идти на нож или под пулю, я бы и не подумал впутывать в этого рода опасность женщину. Но дело совсем не в опасности, которая очень невелика, а в том, что нельзя иначе.

Подумай об этом спокойно, и ты поймешь, почему. Если я сам за это возьмусь, то я не буду иметь ни малейшего шанса. Я попадусь наверно, потому что, как я тебе говорил, меня и там, и по дороге все знают. Сотни свидетелей и десятки улик будут против меня. Но человек неизвестный, если он только не струсит и если в нем есть хоть капля здравого смысла, почти ничем не рискует... Слушай, я все тебе объясню...

И он сообщил мне свой план.

IX

Много было говорено потом об этом плане, и хоть мы не решили еще ничего окончательно, однако, на всякий случай, приняты уже были меры. Прежде всего мы разыграли ссору, и он прекратил свои посещения. С тех пор, кроме редких встреч у общих знакомых, мы с ним не виделись больше при людях, и это длилось долго, более году. Тайные ж наши свидания устроены были с большими предосторожностями. На даче мы выбирали для этого место где-нибудь в стороне от жилья, в глуши, а в городе у него была одна полоумная

старушонка, обдeldывавшая когда-то давно, когда он был еще в школе, его интрижки. Старушонка эта жила теперь с внучкой в Коломне, где-то на заднем дворе, но на квартире у них было чисто, и мы могли встречаться там совершенно спокойно. Поль с ними не церемонился. Когда я приходила, он запирали их в кухню на ключ.

В сентябре я уехала на короткий срок, или, вернее, оба мы уезжали, врознь, разумеется, и с различными целями; но у нас назначено было свидание в Москве, после которого я отправилась далее в Р**. Это была моя первая поездка туда, и я сама настояла на ней. Я прямо сказала Полю, что ни на что не решусь, пока не увижу ее сама и пока для меня не станет ясно как день, что с нею нет никакого другого средства. Глупо бы было пуститься на такой шаг, не зная ни места, ни обстоятельств, и не выдав человека в глаза. Несмотря на уверения Поля, что дело легко, я могла встретить неожиданные трудности... Одна, впрочем, была уж в виду.

Надо было уехать так, чтобы это не составило в доме события. Конечно, мне было не в

первый раз: я исчезала и прежде из дому по целым неделям, предоставляя Штевичу самому догадываться – куда. Вся разница только в том, что теперь он не мог составить себе никакой догадки, кроме одной, что я уезжала к Полю, а этого-то я и боялась пуще всего. Случай вывел меня из затруднения... У меня было несколько претендентов, которым не повезло, но которые не теряли надежды. Один из них, богатый старик, жил летом недалеко и бывал у меня. Скоро после моей официальной размолвки с Полем я вдруг узнала, что он уезжает к себе в имение.

– Где?

– На Волге, недалеко от Твери.

– Ах! Как я вам завидую! – воскликнула я просто. – Осень мое любимое время года; а у нас тут, на дачах, к осени остаются одни лягушки. Поневоле уедешь в город.

– Зачем в город? – сказал он. – Приезжайте лучше ко мне, на Волгу. Вы знаете, я всегда и везде один.

Я приняла это за шутку, но приглашение было повторено потом раза два и с каждым разом серьезнее. Случилось это как раз к тому

времени, когда у нас решено уже было ехать. Естественно пришло в голову, что случай этот недаром, и что им можно воспользоваться.

– Смотрите, – сказала я, – не повторяйте мне этого слишком часто, а то я, пожалуй, поймаю вас на слове и не шутя приеду.

– В самом деле? – воскликнул он.

– В самом деле.

– И вы полагаете, что я не буду вам рад?

– А Бог вас знает. Мало ли что говорится в шутку.

Слово за слово, я довела его до того, что он поверил, и мы дали слово друг другу: он – что будет ждать, я – что приеду, «если не встретится непредвиденного препятствия». На вопрос: «Какого?» – я намекнула на мужа.

– Знаете что, – сказала я, – если хотите помочь мне, то сделайте, чтобы это не было для него нечаянностью. Постарайтесь застать нас вместе и повторите ваше приглашение при нем. Он обещал, а я, разумеется, не замедлила предоставить ему удобный случай... И сколько раз после я поздравляла себя, что это случилось так, потому что в ту пору я была еще очень неопытна для такого серьезного пред-

приятия и не могла представить себе, как хорошо окупаются иногда ничтожнейшая, по-видимому, даже совсем излишняя мера предосторожности.

Через неделю Озарьев, как звали этого господина, уехал. Я не сказала о нем ни слова Полю. Мне нужно было только, чтоб Штевич не удивлялся. Об остальном я не тревожилась, зная, что не пробуду долго.

Чтоб не выписываться в отъезд, я уехала прямо с дачи, сказав об отъезде одной только няне; а чтоб не встретить дорогой кого-нибудь из знакомых, дала кондуктору взятку с условием посадить меня совершенно отдельно. Кстати, в одном из вагонов нашлось пустое семейное отделение, которое он и отвел мне, дав слово, что не пустит туда никого. К ночи, однако, условие это было нарушено, и у меня очутился попутчик. Это был человек лет за тридцать, с загорелым лицом и серьезным взором. По покрою его костюма и бороде я приняла его с первого взгляда за иностранца, но он оказался русский. Господин этот пригодился мне после в Москве. Благодаря его услужливости, я избежала лишних хлопот с

багажом и всякого риска столкнуться на станции или в гостинице с кем-нибудь из знакомых. Он живо достал мой сундук, нанял карету и привез меня прямо в какие-то номера, где кроме него да прислуги я целый день не видела ни души. Чужой паспорт тоже, которым, на всякий случай, снабдил меня Поль, мне не пришлось показывать ни в Москве, ни в Р**. В Москве мне подали только книгу, где я нашла уж записанным имя моего спутника. Из шалости я записалась на имя жены его Софьи, если только у него есть жена и если ее зовут Софьей, что, впрочем, возможно... В четвертом часу, как было условлено, я отыскала Поля, и мы обедали вместе. Он был озабочен, повторял мне подробно свои наставления и умолял быть осторожной.

– Она проста, – говорил он, – но ты, ради Бога, не слишком рассчитывай на ее простоту. Неровен час, случится и хитрого проведет.

Чтоб не смущать его понапрасну, я не сказала ему ни слова о моем спутнике и о том, где я остановилась... В половине 9-го он уехал в О**, а я ночевала в Москве и на другой день, к вечеру, была в Р**.

Х

В тот же день мне наконец удалось увидеть эту несчастную. Мальчик, которого я послала к ней, застал ее очень удачно одну и подал мою записку в окно. В этой записке я назвалась ей кузиной по мужу, которую она никогда не видала в глаза, даже имени не могла припомнить. За первое Поль ручался; насчет второго скажу вам только, что имя было не вымышлено и мы немножко боялись, но все обошлось удивительно гладко. Точно невидимая рука устраняла препятствия с моего пути.

Прошло не более получаса, как я отправила к ней записку с подложной визитной карточкой, но это короткое время показалось мне нескончаемо. Я расхаживала по комнате постоялого дома взволнованная. В голове у меня бродило. Страх, чтобы посланный не перепутал моих наставлений, и совершенная неизвестность, чем кончится этот, в сущности, первый мой шаг, были мучительны. Я была недовольна собой; мне казалось, что я не умела распорядиться, что я взяла на себя предприятие не по силам, что вот, наконец, я

грушу, у меня не хватает твердости даже для начала... И я готова была уже каяться в своей предприимчивости, как вдруг слышу – калитка скрипнула, и в сенях голоса: один незнакомый, женский, другой – голос мальчика, которого я отправила. «Сюда, – говорил последний, – оне здесь ждут».

Дверь отворилась, и в комнату быстро вошла молодая дама. Это была она.

– М-м Фогель? – сказала она, покрасневшись и, видимо, озадаченная.

В одну минуту вся храбрость моя вернулась. Я весело ахнула, подбежала и взяла ее за обе руки.

– Милая Ольга Федоровна! – сказала я. – Простите меня. Мне, право, ужасно совестно!... Встревожить, вытребовать из дома, сюда!... Но я прихворнула дорогой, и были еще другие причины, которые после вам объясню. А теперь, дорогая моя, скажите: неужели я вам так незнакома, что вы даже и имени моего не слышали?

– Нет, – отвечала она, немало сконфуженная. – По правде сказать, не слыхала... то есть не помню, может быть... Ну, да не все ли рав-

но? Только бы полюбили.

– Да вот, как видите, успела уж полюбить за глаза.

– Марья?...

– Евстафьевна, – подсказала я.

– Добрая Марья Евстафьевна!

Мы обнялись, и пошли объяснения. Сперва о родстве, которое я знала лучше ее; потом – каким образом и откуда? Я сочинила ей целую басню насчет того, что я о ней слышала в Петербурге, и какое участие это во мне возбудило, и сколько горячих споров было у нас по этому поводу с ее мужем, который не знает, что я решилась заехать к ней в Р**, да и не должен знать, потому что с его несносным характером он как раз заподозрит меня с нею в заговоре, и это только даст повод к новым неудовольствиям. Мораль моей басни клонилась к тому, чтобы убедить ее в необходимости самой строжайшей тайны. Никто из ее родни, ни в Р**, ни там, в Петербурге, не должен даже догадываться, что мы имели свидание. Я не сказала ей прямо, что под родней я подразумевала прежде всего ее мать, но намекнула довольно ясно, что пригласила ее

сюда единственно только, по этой причине. Бедняжка была ужасно взволнована, но еще более рада и так простодушна, так тронута ласками, на которые я, разумеется, не скупилась, что мне стало жалко ее. Вы понимаете, у меня не было против нее непреклонной злобы; я злилась гораздо более на судьбу, которая сделала меня ее врагом. На первый раз она просидела недолго, из страха, чтоб мать не хватилась, а потому я не успела даже и заикнуться с нею о самом главном... Кое-что было однако достигнуто. Она поверила мне, не задумываясь и, уходя, дала слово молчать.

Когда она ушла, я стояла с минуту, словно очнувшись от сновидения. Я терла себе лицо и голову, стараясь собрать свои мысли и спрашивая себя: что ж это такое? Неужели эта больная, слабая женщина, которая только что была тут и плакала у меня на груди, и обнимала, и целовала меня как родную... неужели это она – мой враг – та самая, которую я готова была осудить на смерть?... Черты лица ее успели уж врезаться в мою память, голос еще звучал в ушах, и в присутствии этой живой действительности мой дальний умысел, при-

думанный за глаза, показался мне чем-то уродливым. «Нет, – думала я, – это несбыточно!... До этого никогда не дойдет Дело развяжется как-нибудь совершенно иначе: как-нибудь просто, само собой».

С такими успокоительными мечтами я легла спать, но мне не спалось настоящим образом, а так только дремалось, и в забытии какая-то чепуха лезла в голову. Поздно поутру я встала расстроенная, с чувством тяжелого оупения в голове и с безотчетною тошнотою на сердце. Вчерашние мысли и впечатления померкли как свечи, забытые с вечеру на столе и догоревшие до дневного света. Я вспоминала их нехотя и бессвязно, как что-то чужое, и по пословице «утро вечера мудренее» они теперь показались мне глупы. Мало-помалу все попечения мои сосредоточились на предстоящем свидании.

Она сочинила дома какой-то предлог и пришла ко мне рано, часу в двенадцатом. Также, как и вчера, вся моя бодрость воскресла с ее появлением, но встреча, на этот раз, была уже совершенно другая. Мы встретились как нежнейшие из друзей: с приветствиями, объ-

тиями и поцелуями. Посыпались шутки, распросы и объяснения; потом разговор из оживленного перешел в грустный тон и, слово за слово, у нас дошло до взаимных признаний. Прижавшись лицом к моему плечу и в патетические минуты сжимая мне крепко руку, она рассказала историю своего замужества с его несчастной развязкой, а я, чтобы не остаться в долгу, сочинила ей целый роман о моем разводе с бароном Фогелем. Мы исповедывались друг другу взапуски, и целовались, и ахали, сожалея наперерыв о страшной испорченности мужчин, о том, как трудно рассчитывать на их постоянство, и как вообще они дешево ценят нашу любовь. Несчастному, вовсе ни в чем не повинному Фогелю досталось при этом гораздо хуже, чем Полю. В азарте я упустила из виду невыгоды слишком большого усердия и расписала его самыми черными красками... Это был промах. Эффект вышел совсем не тот, какого я ожидала. Вместо прямого ответа на мой вопрос: как бы она поступила на моем месте – она, словно угадывая, к чему я веду и торопясь обойти меня, вдруг, ни с того ни с сего, стала меня уверять,

что ее отношение к Полю ничуть не похоже на то, что я ей рассказывала, и в доказательство предложила прочесть мне вслух несколько писем. Я, признаюсь, надеялась, что она посовестится дурачить меня слишком явно и прочтет по крайней мере хоть те, в которых Поль настаивал на разводе, так как о них была уже речь, но я опять ошиблась. Документы, отобранные при мне из связки, к немалому моему удивлению, оказались совсем не те. Малодушное самолюбивое, не чуждое своего рода хитрости, заставило ее предпочесть для своей цели первые письма мужа, писанные в ту пору, когда они только что разошлись, и она жила еще в Петербурге, у тетки. Содержание их было мягко, хотя (на мои глаза) и совершенно фальшиво. Он отвечал в примирительном тоне на ее жалобы и упреки и объяснял их разлад горькою шуткой судьбы, связавшей как будто на смех людей с такими несходными характерами и темпераментами... Это длилось ужасно долго, потому что она останавливалась на каждой странице и начинала мне объяснять пространно такие вещи, которые для меня были ясны как день.

Но что будешь делать? Кусая губы от нетерпения, я выслушала все, до конца.

Она обедала у меня, и после обеда должна была воротиться засветло, чтобы не встревожить домашних. Таким образом, у меня оставалось немного времени, а провести еще целые сутки в Р**, без крайней надобности, я не хотела. Необходимо было спешить, и вот, после обеда, не без усилия, скрепя сердце, я приступила к серьезному объяснению. Свернув разговор, как бы случайно, опять на развод, я вдруг замолчала и, взяв ее дружески за руку, спросила: что она думает делать? Она потупилась и после короткого колебания отвечала:

– Не знаю.

Это меня ободрило как знак нерешимости. Не допуская еще, чтобы она могла со мною хитрить, я обняла ее и притянула к себе.

– Милая Ольга Федоровна! – сказала я. – Будьте благоразумны! За что вы хотите губить свою молодость в насильной связи с человеком, который так очевидно не стоит вас? Ведь вы его знаете или, по крайней мере, должны бы знать. Павел Иваныч не рыцарь и не герой поэмы. Это сухой, прозаический че-

ловек, который, вдобавок, не любит вас.

Маленькое движение, как бы от усилия высвободиться, дало мне понять, что я коснулась больного места. Я ждала ответа, но его не было.

– Друг Мой! Голубушка! Милая! – продолжала я, осыпая ее поцелуями. – Простите меня, если я вас огорчаю, но ведь я это делаю ради вас же самой и вашего счастья. Полюбив вас, как я полюбила, могу ли я утаить от вас правду? Ведь это было бы с моей стороны бесовестно, и когда-нибудь после, вспомнив спокойно о нашем свидании, вы сами себе сказали бы: она поступила со мною низко. Она могла открыть мне глаза, но была так малодушна, что не решилась на это. Не правда ли, ведь я не должна вам лгать? Утешьте меня; скажите, что я должна быть с вами искренна.

– Да, – прошептала она.

Я обнимала и целовала ее, как ребенка.

– Добрый мой друг! – говорила я. – Будьте и вы со мною совершенно искренни; скажите мне, что вы думаете, что вы намерены делать?

– Я думаю, – отвечала она, – что мне нечего делать.

– Вы не надеетесь воротить его?

– Нет.

– В таком случае воротите, по крайней мере, вашу свободу.

– На что мне она?

– Не огорчайтесь. Подумайте и скажите сами, можно ли знать наперед, что вас ожидает в будущем? Вы ничего не теряете, развязавшись с ним; а выиграть можете все. Можете встретить другого, вполне достойного человека, который полюбит вас.

– Нет, Марья Евстафьевна, не встречу, да, если хотите, и не желаю встретить.

– Теперь – да, – отвечала я. – Верю, что вы теперь не желаете, но со временем, когда горе ваше пройдет...

– Оно никогда не пройдет.

– Полноте! Не грешите! Почему вы знаете? Вам двадцать лет. У вас долгие, долгие годы еще впереди.

– Нет, – отвечала она, – если так будет, как было до сих пор, то мне недолго жить.

– Друг вы мой! Да ведь я вам об этом толь-

ко и говорю, что так и должно быть. Вы не должны напрасно губить себя. Это самоубийство.

– Нет, милая Марья Евстафьевна, – отвечала она, – вы ошибаетесь. Это совсем не то. Если бы я могла чем-нибудь пособить себе, я побила бы. Но что я могу! Что может сделать, чего может даже желать для себя человек, у которого разбито сердце?... Я вам скажу, – продолжала она, оживляясь, – он может желать одного – покоя. Я этого и желаю. Я только об одном и прошу его, чтобы он не мучил меня напрасно, чтобы он оставил меня хоть умереть спокойно. А он... письма его из меня всю душу вытянули!... Если бы вы знали, каково это... когда любишь... Если бы это не от него... Если бы от чужого... Если бы он хоть пожалел, дал отдохнуть... А то... – она не докончила, закрыла руками лицо и зарыдала громко.

Еще раз в сердце мое закралась жалость. «Господи! – думала я. – Вот несчастная!... И за что это мне такая судьба, (что я должна у нее отнимать последнее?... Я, которая всю душу рада бы ей помочь, если бы только она

сама не была такая плохая... С таким малодушием ничего не поделаешь!... Ее нельзя образумить, она совсем ослепла!».

Но приговор, к которому это вело, был слишком ужасен, чтобы не подумать десять раз, не перепробовать всех путей прежде, чем отказаться от всякой надежды на мирный исход моих увещаний. Подумав и помолчав, я начала их сизнова. Только на этот раз я не могла уже не смекнуть, что у нее есть что-то на сердце, чего она не досказывает. И я решилась добраться, во что бы то ни стало, до этого недосказанного.

– Вы его любите? – сказала я.

Она начала торопливо отнекиваться, но спохватясь, что теперь это поздно, потому что она успела уж слишком ясно это сказать, вдруг замолчала и вспыхнула вся до ушей.

– Не отвечайте, друг мой, – сказала я. – Вам тяжело, а мне не нужно, потому что я понимаю вас и без слов. Я не к тому спросила, чтобы мучить вас, повторяя еще и еще, что он не стоит такой любви. Бог с ним. Но я умоляю вас, будьте со мною искренни. Скажите мне, положив руку на сердце: вы твердо уверены,

что он не вернется к вам никогда?

Она опять захныкала. Только, должно быть, ей стало уже невмочь хитрить, потому что в слезах она протянула ко мне обе руки, как утопающая, которая молит о помощи.

– Могу ли я быть уверена? – сказала она. – Милая Марья Евстафьевна! Если бы вы знали, как он любил меня прежде, вы сами сказали бы, что это невероятно, немыслимо, невозможно, чтобы человек мог так измениться, чтоб он мог... в такое короткое время... И после того... душа моя, выслушайте, выслушайте, что я вам еще прочту!... Вот собственные его слова!... Вот что он писал мне всего пять лет назад, когда я была невестой...

Она достала опять свою несчастную связку и, дрожащей рукой отыскав в ней какие-то грязные, измятые и закапанные (должно быть слезами) листочки, стала опять читать. Но, увы, эти жалкие памятники ее короткого счастья произвели на меня совсем не то впечатление, какого она ожидала. Тон их был до того похож на тон его самых нежных посланий ко мне, что я, в минуту рассеянности, могла бы принять их за выкраденные из мое-

го стола. Конечно, это не удивило меня. Я знала Поля не со вчерашнего дня и никогда не была так наивна, чтобы уверовать, что я для него, в самом деле, единственная и несравненная. Короче, я не могла ожидать от него ничего другого, кроме того, что я теперь своими глазами увидела, но *ожидать и видеть воочию* – далеко не то же самое, а потому вы не удивитесь, если я вам скажу, что письма эти звучали в моих ушах кровавой обидой. Они уравнивали меня с этой несчастной, покинутой, и сулили мне ту же участь. Это были напоминания, тем более оскорбительные, что они шли, так сказать, прямо от Поля – напоминания, что я не должна плошать и не в праве рассчитывать на далекий срок, что мне надо спешить, надо ковать железо, пока горячо. Понятно, что это отрезвило меня от всяких сентиментальных оглядок назад и вместе с тем озлобило; не могу вам сказать, как озлобило! Я вглядывалась в ее худое, желтое, заплаканное лицо, и спрашивала себя, кусая губы: «Да неужели ж это та самая, к которой он мог писать такие послания? Но где же ее красота? Где эта ни с чем не сравненная пре-

лесть, которая его так восхищала, что он, по-видимому, не находил речей, достаточно пламенных, чтобы выразить свою пламенную любовь?... К кому?... К этому оципанному цыпленку? Фу!... Хорош вкус! И хороша поручка, что он не променяет меня на какую-нибудь другую, подобную!»

Все это, разумеется, было глупо, в том смысле, что передо мною были только одни развалины прежней ее красоты и развалины, от которых, вдобавок, он сам отвернулся. Но я в ту пору была не в силах соображать.

Письма, на этот раз, прочтены были живо, потому что она сочла излишним делать к ним пояснения. В ее глазах это были документы неоспоримые, нечто вроде контракта на душу. Человек отдал ей всю душу, раз и навсегда, и клялся в этом, и скрепил свою клятву собственноручною подписью *en toutes lettres* [16]: «Навеки твой, Павел Бодягин»... Чего же еще? Значит, контракт в полной силе, и он не может нарушить его, не может отнять у нее ее законную собственность. Какие бы ни были ссоры, разрывы, разъезды, и как бы долго они не продолжались, – все это вздор, все это

должно пройти когда-нибудь, и он должен вернуться к ней, должен ее любить... Не правда ли?

Вопрос этого рода написан был явственно у нее на лице, когда она окончила чтение. Торжественный взор ее как будто хотел сказать: «Ну, что же? Вы убедились теперь, милая Марья Евстафьевна, по меньшей мере хоть в том, что я не могу быть твердо уверена?...»

– Хм! Да, – отвечала я на ее безмолвный вопрос. – Это действительно очень пылко и очень нежно, но, друг мой, подумайте, ведь это писано было пять лет назад, а вечность в деле любви у мужчин, вы знаете, простирается редко дальше медового месяца.

Сияющий взор ее сразу померк.

– Марья Евстафьевна, – произнесла она немного обиженным тоном, – вы меня вовсе не поняли.

– Нет, милочка, поняла. Вы рассчитываете на прошлое и ждете...

– Не поняли, – перебила она, раздражаясь, – я ни на что не рассчитываю и ничего не жду.

– Правда ли?

– Клянусь вам!...

– Но если так, – перебила я, чувствуя, что она опять начинает хитрить, и тоже теряя терпение, – если так, и если вы не желаете ему мстить, то для чего, скажите, вы отнимаете у него свободу?

– С чего вы взяли, что я у него отнимаю свободу? – отвечала она, вдруг изменив совершенно тон и взглядываясь в меня как-то строго, почти сердито. – Я затем и уехала, чтобы его не стеснять. Он может жить с кем угодно и делать, что хочет.

Что-то шептало мне, что дальше идти опасно. Она могла заподозрить цель моего посещения, и тогда все пропало. Но опыт был так интересен, и результаты его так серьезны, что я решила еще рискнуть. Мне хотелось дойти донельзя, чтоб после уже не колебаться и не жалеть, что вот, мол, тогда поторопилась и струсила, а если б не струсила, то, может быть, удалось бы это иначе кончить. Я дала себе слово выдержать до конца и выдержала. Но прежде всего надо было обезоружить ее. С этой целью я кинулась к ней на шею и обняла

ее крепко.

– Милая! Дорогая! – говорила я, целуя ее без счета в глаза и в губы. – Не говорите!... Я знаю... И я не о нем хлопочу. Мне только вас жаль, и мне хотелось бы, чтобы в разлуке вам было чем помянуть меня: если не доброю помощью, то, по крайней мере, хоть добрым советом. Голубушка! Подумайте, что вы делаете? Вы его раздражаете, идете ему наперекор без всякой цели. Не говорите; я знаю, вы его любите; это ясно, и мне достаточно это знать, чтобы понять без вашего объяснения, что вы не можете отказаться вполне от надежды. Но во имя этой надежды, в которой вы не хотите признаться, скажите мне ради Бога, неужели вы не видите, что насильно нельзя воротить человека, а можно только озлобить и оттолкнуть его навсегда. Ведь это насмешка или, по крайней мере, звучит насмешкой, сказать: «Ты свободен, но ты мне все-таки муж и не можешь быть мужем другой». Ведь это ребенок поймет, что это только...

Увы! Это было последнее из моих усилий, и оно осталось напрасно. Она не дала мне кончить. С неожиданной силой она вырва-

лась из моих объятий и оттолкнула меня.

– Оставьте это, Марья Евстафьевна, – сказала она решительно. – Вы меня вовсе не понимаете, если думаете, что я хочу его воротить насильно этим или другим путем. Я не хочу развода и пока жива, он не получит его, хотя бы сам Бог сошел с небес и уверил меня, что этим я ничего не выиграю. Я не хочу развода потому, что не вижу нужды марать себя и его мерзким процессом, с грязными жалобами и купленными свидетелями. К чему? Чтобы дать ему средство обмануть еще раз какую-нибудь несчастную, как он обманул меня? Нет! Довольно с него и одной!...

Я слушала с ужасом, потому что далее не могла за нею идти и не могла уже сомневаться в ее непреклонной решимости. Каждое слово ее звучало в моих ушах двойным приговором – мне и себе. О, если бы она знала, к чему приведет ее слепое упорство! К несчастью, она не могла и не должна была знать. И я не могла колебаться более. Оставался всего какой-нибудь час до ее ухода, и некогда было оглядываться. Надо было спешить, чтобы расчистить дорогу насколько возможно к тому,

что ожидало нас впереди. Вместо ответа я принялась опять ее целовать. Средство было испытанное; она не могла против этого устоять. В одну минуту все раздражение ее улеглось, и мы стали опять нежнейшими из друзей. – Душа моя, – говорила я, – если бы вы знали, как вы милы, когда вы сердитесь! Я, право, нарочно готова дразнить вас. Но шутки в сторону, я сдаюсь; вы убедили меня. Я вам скажу, я сама решительная и люблю людей, которые знают, чего хотят. Если б вы сразу сказали мне, как теперь, напрямик: не хочу, и кончено, – я не стала бы долгие и толковать об этом. С одной стороны, вы слишком горды, чтоб идти на сделку; с другой, если вы не желаете для себя свободы, то он и подавно не стоит ее. Только вот что, мой друг: так как вы все-таки его любите, то я не советовала бы вам идти так прямо ему наперекор. С мужчинами, знаете, это плохая политика, и вы, как я вижу, плохой дипломат. Вы все хотите на чистоту; он о разводе, и вы ему о разводе. К чему это? Это только напрасно его раздражает и дает повод стоять на своем, в надежде, что вы уступите. С ними так нельзя, а надо

вот как: он вам о разводе, а вы ни слова об этом, пишете о чем-нибудь совершенно другом. Найдите что-нибудь, что его беспокоит, и начните ему твердить об этом; спутайте, сбейте его совершенно с толку, так чтобы он не знал, что и думать. Хотите, я вас поучу?... Я знаю немножко Павла Ивановича, или, вернее, мы обе знаем его; только вы не видали его два года, а я прямо сюда от него и могу рассказать вам о нем кое-что очень курьезное, если вы мне дадите слово, что меня не выдадите. Скажите, вы не догадываетесь, что Павел Иванович боится за вас? Милочка, я вам скажу: ужасно боится! Он прямо не признается в этом, но это нетрудно понять. Знаете, отчего?... Весною он получил от вашей мамаша письмо. Он мне его показывал, и я, признаюсь, не нашла ничего особенного. Просто мамаша писала, что вы похварываете и просила его не писать о неприятных вещах. Но Павел Иванович, вы знаете, как он мнителен, тотчас вообразил себе Бог знает что. Раз как-то, когда речь шла о вас, он вдруг замолчал и задумался. «Что с вами?» – «Так, ничего». – «Ну, нет, – говорю, – это неправда, признай-

тес, вас что-нибудь беспокоит?» – «Да, – говорит, – я, по правде сказать, боюсь за нее». – «Чего?» А он, знаете, по обыкновению, скрытничает. – «Так, – говорит, – ничего особенного; только у ней характер такой бедовый. Видел во сне больную... Боюсь, чтоб не наделала каких-нибудь дурачеств». Вы понимаете: он боится, чтоб вы не уморили себя. Советую вам принять это к сведению. Это весьма удобный путь к его сердцу – путь, на котором с маленькой ловкостью можно достигнуть больших результатов!

Не помню уже всего, что я ей наплела, но помню, что это было для нее как весть с небес. Радость светилась в ее широко открытых глазах и порхала улыбкою по дрожащим губам. Дивясь, с затаенным дыханием, словно не веря своим ушам, она слушала, слушала и вдруг, наклонясь, поцеловала мне руку. У меня стало тошно на сердце от этой ласки, и странные мысли пришли мне в голову. Я думала, как это будет, когда я приеду сюда в другой раз, и она станет опять ласкаться ко мне, не догадываясь, что я ей готовлю? И неужели она ничего не предчувствует? Неужели на ли-

це у меня ничего не заметно? Странно! Мне кажется, я бы сейчас заметила! И еще я думала: где это будет? Неужели здесь, в этой комнате, на этом самом месте, где мы сидим?

Мы просидели еще целый час. Она оживилась и стала вдруг совершенно другая: мила, весела, говорлива. Мы долго болтали о всякой всячине, смеялись, шутили и целовались. Под конец она вздумала меня уговаривать, чтобы я осталась еще на сутки, но я объяснила ей, что и так просрочила, что меня ждут не дождутся дома. Вместо того я дала ей слово, что приеду еще раз и может скоро. Когда стало смеркаться, она спохватилась, что ей пора идти... Мы с нею простились ужасно нежно, и я уехала в тот же день.

Я выехала из Р** глубокой ночью, но время, которое у меня осталось до отхода почтового поезда, прошло недаром. Я более двух часов бродила одна, пешком, от постоянного дома к дому О. Б., оттуда к вокзалу, а от вокзала опять к постоянному дому и далее сызнова тем же путем. Первый раз это было трудно, и мне приходилось справляться на каждом шагу, но, наконец, я успела сделать все три конца без ошибки и, воротясь, записала этот урок. Когда это было окончено, я вздохнула свободнее и первый раз имела досуг серьезно подумать о том, что делать теперь: ехать на Волгу, к О**, или вернуться прямо домой? Против прямого возврата существовали серьезные возражения. Во-первых, Штевич был бы сбит с толку касательно цели моего путешествия, если бы я воротилась на пятый или шестой день после отъезда; да и не он один. Всякий, кто мог бы узнать впоследствии о моей отлучке, имел бы полное основание усомниться, что я была у кого-нибудь в гостях за 500 верст от дома и провела там всего два дня; по расче-

ту не выходило более. Но стоило теперь захватить к О** и прогостить у него с неделю, чтобы плохой предлог обратился в солидный факт, причем короткое время, потраченное в Москве и в Р**, пошло бы не в счет, так как его легко было объяснить случайной задержкой в дороге. Против этого я имела только одно: Поль ничего не знал об О**, и я рисковала жестоко встревожить его известием о моем визите туда. Конечно, можно было ослабить эффект, не сообщая ему куда об О**, а просто предупредив, что я вернусь позже обещанного. Подумав немного, я так и сделала. Я написала ему несколько строк из Р**, с коротким известием, что все обошлось благополучно, кроме того, что я не могу вернуться так скоро, как рассчитывала, и буду неделю позже, а почему – об этом ни слова. Я только просила его, чтобы он не тревожился и обещала, что после все объясню. Письмо это было за подписью «Фогель». Я написала его перед самым отъездом и опустила в вокзале в почтовый ящик.

Таким образом, я имела отдых, не лишний после такого долгого напряжения, и этот от-

дых, как вы сейчас увидите, оказался кстати. Прием, сделанный мне Озарьевым, был выше всякого ожидания. В старом просторном его доме спальня и будуар, к моему приезду, убраны были с таким комфортом, какого я не имела и дома. Угощение – царское: обеды в саду, на террасе в цветах, с шампанским и стерлядями; мороженое и фрукты; хор, музыка и катанье по Волге на катере, устланном дорогими коврами, с гребцами в белых рубахах и с песенниками. Верховые лошади, экипаж, фейерверки, иллюминации и прочее. Не берусь перечесть всех затей, которые были придуманы им для дорогой гостьи и стоили, разумеется, сумасшедших денег; скажу только одно: ни разу в жизни еще меня так не фетирировали [17]. Понятно, что я была тронута, и признаюсь, не раз втайне подумала: как совершенно иначе могла бы сложиться жизнь, если бы я вместо гостьи была тут хозяйкою!

С такими фантазиями в голове, немного вскруженной лестным приемом О**, я чуть ли не в первый же день стала делать над сердцем его свои маленькие исследования; но они убедили меня очень скоро, что О** глядит

совсем не туда. Обидно было это, но что будешь делать. A la guerre, comme a la guerre [18], к тому же, одна неделя – куда ни шло, думала я сначала, а далее у меня появился план, о котором я после вам расскажу.

В конце двухнедельной отлучки я, наконец, воротилась домой.

– Ну, что, сударыня, погуляли? – спросил с усмешкой Штевич.

– Да, – отвечала я.

– Одне изволили воротиться?

– Одна.

– Что ж так? Не поладили разве?

– Нет, ничего, поладили... Он будет сюда к октябрю.

– Ас господином Бодягиным кончено?

– Кончено.

– Жаль!

Это мне надоело.

– Жалейте, пожалуйста, про себя, – сказала я. – Мне нет никакого дела до ваших расчетов.

– Понятно-с... Только я больше на ваш счет; по той причине... Но я отвернулась и вышла.

– Где ты была, скажи, пожалуйста? – зловецким голосом спросил Поль, когда мы свиде-

лись первый раз по приезде.

Я решилась заранее рассказать ему все и рассказала без всякой утайки, надеясь, что он поймет мои причины. Но он не дал мне сказать толком двух слов, и у нас вышла прегадкая сцена.

– Ты лжешь! – крикнул он вне себя. – Ты меня водишь за нос! Ты только за этим и ездила!

– Поль!... Ты с ума сошел!...

Но он был безмерно взбешен и вывел меня, в свою очередь, из терпения. Не прошло и пяти минут, как мы были готовы забыть, где мы и что через комнату могут услышать наш крик.

– Стой! – вскрикнула я, чувствуя, что мы оба теряем голову. – Если ты до меня еще пальцем дотронешься, клянусь тебе Богом, я выбью окно и кликну дворника.

Это было в Коломне, на свидании у его старухи, и мы расстались врагами.

На другой день, поутру, я получила короткое извинительное письмо, в котором он звал меня вечером опять в то же место, обещая, что все выслушает, но я не пошла. На третий

день – снова письмо, отчаянное. Он обвинял себя безусловно, просил у меня тысячу раз прощения и умолял прийти.

Вечером, когда мы увиделись у старухи, я разругала его беспощадно, и он выслушал это молча, повесив голову.

Кончилось, разумеется, тем, что я простила его. После чего мы говорили много о том, что у меня было в Р** с его женою.

– Нет, стало быть, никакой надежды? – сказал он мрачно.

– Нет, – отвечала я. – И надо это окончить как можно скорее, покуда она не проболталась... Ты приискал кого-нибудь?

– Да.

– Кого?

– Из кордебалета, одну молодую девчонку.

– Хорошенькую?

– Ну разумеется.

– Вот видишь, как ты со мною несправедлив. Ты выбрал на мое место красавицу, и я против этого ни полслова. А сам ревнуешь меня – к кому?... К старику, которого я взяла, чтобы глаза отвести!

– Уж не думаешь ли ты продолжать эту

связь?

– Ах, Боже мой! Разумеется, думаю!... На первое время... Как же иначе?

По правде сказать, я сначала об этом не думала, но эта идея пришла мне в голову, пока я жила у О**, и я решила, что так будет гораздо умнее, потому что иначе как объяснить наш разрыв для тех, кто знали меня и, разумеется, не могли допустить, чтобы я остепенилась так сразу, без всяких причин. Все это я объяснила Полю подробно, ссылаясь, в свое оправдание, что и он тоже взял напоказ любовницу...

Он замолчал, но логика эта была ему, очевидно, не по нутру.

– Что ж, ты ее афишируешь? – спросила я между прочим.

– Да, – отвечал он угрюмо.

– Ну, полно морщиться-то, голубчик!... Меня не проведешь!... Я знаю вашу породу. Вам кто бы ни был, все равно... С нею, с глазу на глаз, я полагаю, ты не делаешь такой кислой мины?

Он усмехнулся.

– Очень хорошенькая? – спросила я.

– Да... недурна. Молчание. Он посвистывал.

– Что ж, ты устроил ее на щегольской квартире: повар, лакей, экипаж; все как следует?

– Да.

– Где ж это?

Он назвал мне дом и улицу.

Таким образом все было подготовлено по возможности заблаговременно, и оставался только один вопрос; когда *это* сделать? Поль советовал подождать еще месяца три-четыре, и это, конечно, было бы осторожнее, если бы успех развязки зависел только от нас двоих. Но кто мог ручаться, что у нее хватит терпения на долгий срок? Не получая ни строчки от мнимой Фогель и ожидая ее приезда со дня на день, она могла решиться на что-нибудь непредвиденное. Могла написать, например, на авось, к настоящей Фогель и получить от нее ответ, который сразу и навсегда расстроил бы наши планы. Конечно, это нетрудно было предупредить. Я могла сама написать ей из Петербурга, но это был бы еще один лишний шаг, а в подобного рода вещах, как говорил Поль, каждый шаг удваивает опасность. Письмо могло быть получено при матери и

повести к допросам, а допросы могли окончиться Бог знает чем. Потолковав и поспорив об этом с Полем, мы, наконец, согласились, что нужно спешить, и вторая моя поездка в Р** была назначена на первое ноября. Я должна была выехать в два с половиной часа, без багажа (чтобы избежать задержек и чтобы дома никто не мог догадаться, что я уезжаю серьезно куда-нибудь); на другой день, в 7 часов вечера, быть в Р**, окончить все, если удастся, в тот же день к ночи, и ночью в 3 уехать обратно. Таким образом Штевич и Сузя узнали бы только поутру, на другой день, что я не ночевала дома, а в конце третьей или четвертой ночи, я уж должна была быть у себя... Кому могло прийти в голову, что в эти два-три с половиною дня я, без всяких дорожных сборов, в одном простом лисьем салопе, успела съездить за тысячу верст и воротиться?

Таким образом все, что только возможно было предвидеть, было предвидено, и если за всем тем, как оказалось впоследствии, я ошиблась в расчете, то могу по крайней мере сказать, что причины моей ошибки лежали вне всякого человеческого предвидения.

Вы удивляетесь, что я накануне такого дела могла быть, по-видимому, так мало обеспокоена его значением и последствием?... Скажу вам на это: я удивлялась когда-то очень, как люди могут курить сигары с таким спокойствием? Как с ними дурно не сделается? Ну, а с тех пор, как стала курить их сама, не удивляюсь более. Привычка, вот видите ли. Конечно, есть люди, которые никогда не могут привыкнуть к иным вещам, но большая часть вообще привыкает довольно скоро. Сначала, когда эта мысль в первый раз закралась мне в душу, и месяца два потом, покуда дело не решено еще было окончательно, я очень тревожилась; но мало-помалу это поулеглось, и после первой моей поездки в Р** я так привыкла думать, что это неотвратно, что мне казалось уже, как будто все решено помимо меня и моя воля тут ни при чем. Конечно, порою мне становилось жутко и страшно, особенно когда я начинала себе представлять, как это будет. Но меня сильно поддерживало то обстоятельство, что я была не одна. Поль был со мною и так уверен в успехе, что я не могла иметь никаких опасений на этот счет,

а остальное, к стыду своему признаюсь, не очень меня смущало. Вы понимаете, у меня нервы ужасно крепкие, были то есть. «Что ж делать, – думала я, – если все это так устроилось? И что она потеряет, если умрет двумя, тремя годами ранее?»

Не подумайте, впрочем, что я оправдываюсь. Я только вам объясняю, что в ту пору я чувствовала, и вы понимаете сами, что если бы я иначе чувствовала, я бы этого никогда не сделала. Я не была ни слабонервная, ни чувствительная и не имела привычки много раздумывать о том, что я раз решилась сделать... После я много думала, но теперь рано об этом, и я возвращаюсь к делу.

Недели три после первой моей поездки мы ждали ее письма. Оно пришло, наконец, и содержало как раз то, что нужно: утрированную картину ее душевного состояния, признание, что она тяготится жизнью, и плохо замаскированную угрозу самоубийства. Письмо не могло бы быть лучше, если бы мы с Полем продиктовали его: она играла нам прямо в руки. Затем оставалось только убаюкать ее двусмысленными надеждами, и Поль это сделал

в своем ответе. Он сделал вид, что ужасно встревожен и в нерешимости, то есть не знает, что ей сказать, чтоб отклонить от такого намерения. Это был наш последний оборонительный шаг, и он оказал нам большую услугу.

XII

Я выехала днем позже, чем у нас было положено, то есть 2-го числа. Первое приходилось на понедельник, и мы побоялись дурной приметы.

На этот раз я не искала особого места в поезде, зная уже по опыту, что этим можно скорее привлечь внимание, чем избежать неожиданных встреч. К счастью, их и не было... Дорогою я была довольно спокойна и старалась поменьше думать, но, несмотря на то, не ела почти ничего и не могла уснуть.

В среду, 3-го ноября, в 7 часов вечера я приехала в Р**, остановилась на том же дворе и послала опять того же мальчика, только на этот раз без записки.

Расчет мой был очень удачен. Мать оказалась опять в гостях, и он застал ее дома одну.

О. Б. прилетела немедленно, радостная и, от избытка радости, вся взволнованная. Только когда я ей объяснила, что не могу остаться до завтра, она чуть не заплакала.

– Ах! Как же так?... Как же?... – твердила она с укором. – Ведь это значит, я вас почти не увижу, потому что не могу сегодня. Маман должна воротиться в 10-м часу, и к этому времени надо быть дома... Нет, милочка, вы не уедете!... Сделайте мне эту радость, останьтесь! Пожертвуйте хоть одним деньком для меня!

– Нельзя, дорогая моя!

– Ах, Боже мой, как же это вы так плохо распорядились?

– Что делать? – отвечала я. – Так вышло... Я думала, милая Ольга Федоровна, что может быть вы умудритесь уйти ко мне попозже, когда ваша маман ляжет спать... Она рано ложится?

– Рано.

– А как?

– В половине одиннадцатого.

– Ну, а другие домашние?

– Все следом за ней.

– Знаете, что? – сказала я, подумав. – Оставьте их всех спокойно лечь спать, а я к вам приду немного попозже, и вы мне отворите сами. Таким образом, мы будем иметь все время до двух или даже до половины третьего, к которому времени я велю за собою прийти или приехать... и уже прямо от вас на вокзал... а?... Как вы думаете?

В восторге от моей выдумки она вместо ответа кинулась мне на шею... Но мне было не по себе от этих объятий. Мне вдруг пришло в голову, что теперь ее час уже решен, и что это живое, теплое существо, которое я держу в объятиях, кажется только живым, а в действительности стоит уж одною ногою в гробу и будет лежать в нем, наверно, не дольше как завтра... Дрожь у меня пробежала по членам от этой мысли, и я пожелала от всей души, чтоб это как можно скорее кончилось... «Сегодня! Во что бы то ни стало сегодня! – думала я. – Иначе за ночь я стану совсем никуда не годна». Что дальше было говорено – неинтересно. В сущности, все уже было сказано, что требовало с моей стороны какого-нибудь внимания, и остальное мне было все равно, пото-

му что она в моих глазах была почти уже мертвая. Помню, она расспрашивала меня: откуда я, и видела ли его?... Я отвечала, что видела и что он очень испуган ее письмом; не знает, что делать; думает даже сам побывать в Р**, как только дела позволят. Она вся вспыхнула, и пошли опять расспросы. Я ей врала на этот раз без зазрения совести. «Что за беда? – думала я. – Ведь она никогда не узнает, что это ложь...» Письма, как я и ждала, оказались у ней в кармане, и она успела мне их прочесть до ухода. Это были черновое ее письмо и ответ Поля.

– Ну, что? – заметила я. – Не правду ли я вам говорила, что за них надо уметь только взяться? Вот, видите ли, как ваши дела вдруг поправились!

– Ангел вы мой! – воскликнула она вдруг, поймав меня за руки и целуя их.

Мне стало тошно, и я через минуту сама напомнила ей, что она засиживается.

Когда она ушла, я чувствовала себя так скверно, что не могла ни пить, ни есть, хотя за полчаса до встречи еще была голодна до смерти. Мне нужен был отдых, но я ужасно

боялась уснуть и проспать, а потому, ложась, велела хозяйке разбудить меня непременно к двенадцати, отдала ей даже мои часы для этого. Но, несмотря на усталость, я не имела отдыха. Мысли только блуждали и путались у меня в голове, как у сонной, и раза три я дремала.

Не помню уж, как прошло это время. Помню только, что в забытьи, услышав шаги за дверь, я вздрогнула и вскочила на ноги. Вошла хозяйка, которая принесла мне назад мои часы. На них было без десяти минут двенадцать. Я попросила умыться, оправилась, причесалась, заплатила что следует за постой и вышла, сказав, что иду на станцию.

– Темненько, сударыня! Гляди, как бы не заплутаться.

– Нет, – отвечала я, – тут близко, и я хорошо помню дорогу. На дворе было действительно очень темно, но я пришла без ошибки к ее дверям»... По уговору я постучала тихонько в окошко – шестое от входа; это было ее окно, и минуту спустя она отворила мне.

– Это вы?

– Я, дорогая моя.

– О! Как я рада!... Скорее ко мне, чтоб ни минуты у нас не пропало... Я жду вас уже с полчаса.

– Все спят, стало быть?

– Давно.

Говоря это шепотом, мы прокрались чуть слышными шагами по темному коридору: она – со свечой впереди, я – сзади, как черная тень. Ноги мои дрожали, когда я вошла в ее комнату... Я осмотрелась с невольным, особенным любопытством и то, что увидела, помню до сих пор. Помню узоры ковра и цветы на окошке, и ситцевые гардины, софу и стол, за которым мы пили чай; все это снилось мне после несчетное число раз. Когда мы вошли, она своими руками раскутала меня, усадила и тотчас выбежала за чем-то. Оказалось, что она разбудила горничную и приказала тихонько от всех поставить нам самовар. Это было естественно, но Бог знает почему, мне в голову не пришло, что она это сделает. Поправить однако нельзя было, и потому я попросила только, чтобы она не держала служанки без надобности, а отпустила тотчас, как только та подаст, что нужно.

– Я так и велела ей, – отвечала она.

Я пришла совершенно развинченная и несколько времени не могла представить себе, как это будет. Страшная близость развязки пугала меня, но еще больше пугала мысль, что в решительную минуту я струшу и должна буду отложить до завтра, а завтра, Бог знает, дождусь ли еще случая... «Но что же делать? – думала я. – Я не давала подписки окончить это во что бы то ни стало сегодня, и если не кончу, то головы за это не снимут. К тому же, пора еще не пришла. Всего половина первого, и у меня полтора часа в запасе»...

Мысли подобного рода мало-помалу меня ободрили. Все было так тихо кругом, и она такая милая... Мы сидели рядом, и разговор завязался у нас в ту же минуту, без всяких усилий с моей стороны.

Она жалела, что я уезжаю, и жаловалась, что нам не удастся пожить друг возле друга подольше.

– Долго ли нам так прятаться? – говорила она. – Это несносно, и я, наконец, не вытерплю: я к вам сама приеду.

Я, разумеется, похвалила ее за это намере-

ние.

– Но мне сдается, – сказала я, – что мы с вами увидимся скоро где-нибудь, где мы вовсе не ожидаем... Может быть в Петербурге.

– Ах, милочка, – отвечала она, – вам это легко говорить, потому что вы храбрая, а я так напугана, что у меня нет веры в счастье. Мне все что-то чудится, что если б оно и пришло, то я не увижу его.

– Отчего?

– Так... может быть... не доживу.

– Полноте, – отвечала я. – Вы молоды...

– Что ж? Разве в молодости не умирают?

Мы замолчали.

– Ах, Мари! – сказала она, надумавшись. – Горько вставать из-за стола, не отведав пищи, которую Бог всем послал... горько, душа моя, умирать голодною, не испытав земного счастья.

Слово за слово наш разговор перешел на другие предметы, и мы говорили долго еще о Поле, о Петербурге, о том, приедет ли он сам в Р** или напишет ей, чтобы она приезжала. Она была в духе, болтала без умолку, ласкалась, шутила и хохотала. А я, нужно ли вам

признаться? – считала минуты, которые у меня оставались, и, в нетерпении кончить скорее эту пытку, мысленно проклинала горничную за ее медлительность. Было уже довольно поздно, и я пересела нарочно на стул, спиной к дверям, чтобы последняя не успела меня разглядеть, когда войдет.

Наконец она вошла и поставила возле меня, на стол, поднос с приборами, потом подала самовар. По взглядам, которые она на меня мимоходом бросала, нетрудно было понять, что я для нее диковина, присутствие которой тут, в доме, и в такой поздний час она не в силах себе объяснить. Когда все было подано, она ушла.

– Напомните ей, пожалуйста, чтобы она не дожидалась. Ольга выбежала и через минуту вернулась.

– Ушла? – спросила я.

– Ушла.

– И ляжет спать?

– О, разумеется!... Ее не нужно много об этом просить.

Как рассказать вам, что я почувствовала, когда увидела себя наконец лицом к лицу с

затейным мною делом. Минут пять или десять, не более, она была еще во власти моей, а там... Выдастся ли еще раз такой удобный случай и хватит ли у меня решимости на второй раз, если я в первый струшу?

Она уже заварила чай и начала разливать его. Необходимо было немедленно попросить у нее чего-нибудь, чего не было на столе, чтобы заставить ее уйти на минуту. И я несколько раз открывала рот с этим намерением, но страх и жалость не допускали меня произнести роковое слово. Я чувствовала каким-то инстинктом, что повисла над пропастью, и в глубине души молила еще судьбу, чтобы она не допустила меня упасть, как вдруг Ольга обратилась ко мне с озабоченною усмешкою:

– Что вы так смотрите, милая Марья Евстафьевна?... Вам нужно чего-нибудь? – сказала она. – Признайтесь, вы, верно, пьете с лимоном? – И, не дождавшись ответа, выбежала из комнаты.

Меня вдруг стукнуло, словно палкой по голове. Без мысли, без всякого чувства сидела я с четверть минуты, прислушиваясь, потом вскочила, выглянула за дверь и, воротясь к

столу, исполнила быстро, отчетливо, но совершенно бесчувственно, как машина, ту малость, которую мне оставалось сделать.

Все было кончено к тому времени, когда она воротилась, и я сидела как истукан, готовясь быть зрительницей чего-то адского, что ускользнуло из рук моих и что я не в силах уже сделать.

Помню, она поставила передо мною лимон и села с усмешкой, дивясь, что я его не трогаю, а я не трогала потому, что у меня руки тряслись и я боялась, чтобы она не заметила. Потом она обратила мое внимание на свою чашку. Чашка была небольшая, старинная, с каким-то стертым рисунком.

– Это память отца, – сказала она. – Он пил из этой чашки, и после смерти его, когда я была еще ребенком, маман подарила мне эту вещь для того, чтобы я каждый день вспоминала его. Она боялась... Тьфу! Что это?...

Я чуть не вырвала чашки у ней из рук, но уже поздно: она отхлебнула... Сильное удивление появилось у ней на лице, потом испуг...

– Что это значит?... Мне дурно!... Мари! Каким образом?... Ох! Дурно мне! Ох, как дурно!

но!...

Дальше я не могла расслышать, потому что слова ее стали невнятные, да и мне было не до того. Она задыхалась, вскочила, упала, опять вскочила... Кто-то из нас отодвинул стол, так что посуда и самовар едва не слетели на пол... Ужас напал на меня, такой ужас, что я готова была кричать. Помню одно мгновение, когда мы стояли друг против друга: я – ухватясь руками за голову, она – с посиневшим вздутым лицом и страшно вытаращенными, сияющими глазами... Все это длилось не дольше, чем я рассказываю, и в ту минуту, когда я готова была упасть к ее ногам с мольбой о прощении, чуть слышный крик вылетел из ее груди; она пошатнулась и, как мешок, рухнула на пол... Я знала, что ей не встать...

«Кончено! Нечего мне больше тут делать», – подумала я. Полоскать чашку, чтоб скрыть следы, было бы бесполезно, потому что у нее изо рта ядом пахло гораздо сильнее, чем из десяти чашек. К этому примешался страх, чтобы горничная, проснувшись, не

вздумала заглянуть прежде, чем я успею уйти. Я задвинула умирающую столом, чтобы не видеть ее лица, оделась и выглянула за двери. Никого нет... Все тихо, ни звука, ни шелеста. Тогда я задула одну свечу, вышла с другою из комнаты, проворно замкнула двери на ключ и готова уже была бежать без оглядки, как вдруг что-то остановило меня. «Ключ!... Куда дену я ключ?»... К счастью, между дверьми и полом была заметная щель. В одно мгновение я сунула ключ туда и, чувствуя, что он входит свободно, пихнула его из всей мочи внутрь. После я не могла постичь, как у меня хватило дерзости: одна, со свечой, в коридоре, перед ее дверьми, с ключом в руках и с ядом в кармане. Выгляни в эту минуту горничная, как она выглянула четверть часа спустя, и я бы пропала.

Но счастье, служившее мне так замечательно в этом деле, не изменило и этот раз. Никто не выглянул, я прокралась по коридору в прихожую, задула свечу и бросилась на улицу.

Я выскочила как кошка и, несколько раз вздохнув полною грудью, ударилась во всю

мочь бежать. Не знаю уж, как я себе не сломала шею, потому что вокруг было страшно темно, и глаза мои, раздраженные светом свечи, не различали почти ничего. Какой-то слепой инстинкт однако заставил меня остановиться на повороте и очень кстати, потому что, осматриваясь, я разглядела как раз, перед собою крутой уступ с тротуара на улицу и внизу, на улице, лужу. Это заставило Меня убавить шаг, но не прошла я и двух минут, как мне почудилось, что где-то далеко сзади бегут и кричат: держи!... В ужасе я подобрала платье и пустилась опять бегом. Прибавьте, что я потеряла счет времени и до смерти боялась, что опоздаю на поезд. Но все это было воображение, потому что погони не было, а в вокзал я поспела получасом раньше, чем нужно. Как я могла так бежать, я и сама не знаю; помню только, что, добежав, я едва дышала. Страх, чтобы на меня не обратили внимание, увеличивал еще вдвое мою тревогу, но, к счастью, в эту пору вокзал был сравнительно пуст и в залах довольно темно. Только у кассы да у буфета горели лампы. Несколько человек на меня оглянулись, когда я вошла, и один из стоящих

поближе шепнул что-то другому, может быть сущий вздор, может быть даже и не на мой счет, но я в ту пору была уверена, что на мой и что он видит во мне что-нибудь подозрительное... Еле живая, я проскользнула мимо и, выбрав себе уголок потемнее, шлепнулась, как багаж, на лавку. Мне было так дурно в эту минуту, что я едва успела дойти. Еще немного и, кажется, я бы не выдержала, я бы упала на пол.

С полчаса я сидела или, вернее сказать, лежала в своем углу, едва дыша, с жестокою болью в груди. Я думала, что у меня сердце лопнет, – так страшно оно стучало. Лицо было в огне, и я вся дрожала, как лист. Пол, потолок и люди, стены, столы и стулья – все это плыло кругом, колыхалось, в каком-то кровавом тумане. В первые пять или десять минут, мне кажется, даже сигнальный свисток не в силах был бы поднять меня на ноги, а между тем я проклинала эту отсрочку, считая минуты в смертельном страхе, что все обнаружится как-нибудь прежде, чем я успею уехать, и что вот-вот за мною придут. В какой степени это правдоподобно – мне некогда было сообра-

жать. Я вся обратилась в слух и сидела, тревожно поглядывая то на стенные часы, то на вход. Он освещен был слабо, и я, с другого конца, не могла ни разглядеть входящего, ни разобрать смешанных звуков, порой доносившихся до моих ушей. Это был гул шагов и смутный говор толпы, которая мало-помалу росла. Каждый раз, когда голоса возвышались или кто-нибудь торопливо вбегал, мне думалось, что это уже наверно недаром, что это пришли за мной, ищут меня. Но входящие хлопотали со своими вещами, расплачивались с извозчиками и рассыпались по залу, не обращая решительно никакого внимания на меня. Наконец и в моем углу начали занимать места. Какая-то женщина с мальчиком пришла и села возле меня. Потом у стола, в пяти шагах, уселось несколько человек мужчин и две дамы. Они говорили между собою вполголоса, но, как мне показалось, весьма горячо, и я, тревожно прислушиваясь, ловила урывками их разговор... «Когда?...» – «Сию минуту...» – «Не может быть!...» – «Уверяю вас» – «Вы ее видели?...» – «Нет, – но я видел... А. Д... разбудили... сию минуту...» – «Ах, господи! Да

я ее встретила не дальше как поутру!...».

Я чуть не вскочила на ноги с намерением бежать без оглядки куда-нибудь – так я была уверена, что они говорят об этом, но, к счастью, оказалось, что дело идет о родах в каком-то знакомом доме... Я только что успокоилась и перестала их слушать, как возле меня завязался другой разговор. К соседке моей подошел какой-то купец в лисьей шубе, и она стала жаловаться ему на темноту.

– Страсти, что это такое! – говорила она. – Хоть глаз выколи!... И что за народ нынче стал отчаянный – ничего не боится: ни черта, ни Бога!... Уж кабы не сыну срок, ни за что бы в такие потемки не выехала... Того и гляди, шею тебе свернут!

– Эх, матушка, – отвечал купец, – не грешите! Без воли Божией волоса с головы не убудет; ну, а чей час пришел, так и дома-то сидючи у самовара, от смерти своей не уйдешь... Вот, рядышком, возле нас...

По тону на этот раз уже ясно было, что он говорит о другом, но все-таки мне не нравилось направление, которое принимал разговор, и, чтоб не слышать его, я пересела.

Наконец кассу открыли... Надо было идти брать билет. Сердце мое замирало, когда я вмешалась в толпу – так я боялась услышать известие или вопрос. Я готова была заткнуть себе уши, чтобы не слушать, и все-таки слушала...

Когда я взяла билет и выбралась с ним на простор, ко мне обратился вдруг один из станционных с вопросом: где мои вещи?... Я отвечала: «Сданы», – но тем не менее успела так струсить, что у меня в глазах помутилось...

Помню словно сквозь сон, как я прошла на платформу и села в вагон, как возле меня суетились, укладывались, как мне казалось, что мы никогда не уедем, и как наконец раздался свисток.

«А что, – подумала я, – если в эту минуту вдруг крикнут: «Стой!» – и пойдет переборка?...» Но покуда я думала, поезд тронулся, шибче и шибче. Скоро платформа, и фонари, и Р**, и все первые страхи мои были уже далеко. Мы мчались в потемках и только минутами мимо окна проносились, как адские призраки, гонимые огненным вихрем и градом искр, темно-багровые клубы дыма. Во-

круг меня люди: мужчины и женщины, усаживались половче и засыпали... счастливцы! О, как я им завидовала, я, которая между всеми одна, несмотря на смертельное утомление, не могла заснуть!... Напрасно смыкала я веки, стараясь забыть и забыться. Передо мною все время была она со своим ужасным лицом, и она смотрела мне прямо в душу огромными, выпученными, сияющими стеклянным блеском глазами...

«Что толку, что я ушла от живых, если я не могу уйти от мертвой!, – думала я. – Да полно, ушла ли еще и от живых?... Правда, я далеко от Р**, и мы мчимся, по-видимому, так быстро, что нас невозможно догнать, но вон, следом за нами, тянется ниточка, и от этой ниточки мне не уйти. По ней мое дело может меня обогнать одним быстрым скачком и, может статься, уже пришло известие, и нас уже ждут?... Почему я знаю, легла ли горничная, и если не легла, то уснула ли?... Может быть, она там, где-нибудь за дверьми, ждала, когда я уйду, и, услышав шаги мои в коридоре, встала, чтобы помочь своей госпоже, и как только все смолкло, пошла... В коридоре темно, и

дверь заперта на ключ, но она знает, что госпожа ее не успела еще уснуть... Она постучалась, покликала, потом пошла и разбудила других. Весь дом поднялся, двери выломали... нашли, и как только нашли, сию минуту розыск. От горничной тотчас узнали, что ночью была какая-то незнакомка, одета так-то, сидела за самоваром, потом – ушла... Куда? Конечно, уехала в три часа с почтовым поездом... Сию минуту – на станцию, а на станции меня видели и заметили, в каком состоянии я вошла... и как я пряталась... и как я была одета... Поезд ушел; пошлют вдогонку экспресс и на экспрессе: полиция, горничная, станционные, – тот самый, который спросил у меня, где мои вещи?... Какую ужасную глупость я сделала! И как изумится Поль, когда узнает. Мы с ним не рассчитывали на горничную, и он надеялся, что у меня хватит смыслу. А я? Да что же это я, ошалела что ли? Что меня погоняло? Зачем не подождать другого, более безопасного случая?... И на что я надеялась? На что надеюсь еще теперь?... Что не успеют? Не хватятся до утра? Но много ли нужно на это времени?»

И я начала рассчитывать время, но только что начала, как страшный вой заставил меня вздрогнуть. Поезд убавил ходу – тише, тише, стал... В окошко мелькнули огни – это станция... Еле живая от страха, я прижалась в своем углу и сделала вид, что сплю, но чутко настороженное ухо ловило малейший звук... Там, впереди, на платформе – далеко какие-то громкие голоса и шаги – много шагов... идут и бегут!... В соседнем вагоне дверь хлопнула; это, наверно, розыск и сейчас будут здесь!...

Но шум мало-помалу утих... «Готово!» – крикнули недалеко. «Готово!» – глухо отозвалось впереди; свисток, и мы опять тронулись.

Не стану рассказывать вам, сколько раз повторялась эта тревога ночью и поутру, и как поутру я меньше трусила, потому что могла разглядеть, что делается снаружи. Скажу только одно: я была еле жива от голода и бессонницы, а между тем не смела выйти, чтоб съесть хоть кусочек чего-нибудь, и не могла ни минуты уснуть. Только по мере того, как мы приближались к Москве, на меня чаще и чаще начало находить какое-то странное забытье, в котором я не могла уже больше ни

думать, ни понимать, что делается вокруг. Вагон, пассажиры, дорога, станции, Р**, и моя несчастная жертва, и горничная, и телеграф, и розыск – все спуталось у меня в голове и пошло колесом, догоняя, перегоняя, сменяя друг друга без всякой связи, без всякого смысла... Лес по бокам дороги, не переставая быть лесом в моих глазах, порою казался мне улицей, и я, не переставая сидеть в вагоне, бежала по этой улице, и через минуту сидела снова в комнате Ольги, у самовара, который свистел и выл, как паровоз, увлекая меня вперед... В ногах у меня лежал чей-то дорожный мешок, и я одну минуту знала, что это мешок, а в следующую он мне казался трупом несчастной Ольги, который валяется под столом, а за столом, против меня, сидит пассажир – мой визави, сидит и дремлет, и я сижу опять уж не в комнате, а в вагоне. Дверь открывается, и я вижу ясно, что это вошел кондуктор, но через миг кондуктор превратился в женщину, и эта женщина – горничная, и эта горничная – не что иное, как телеграфный столб, который мелькнул мимо меня в окошко. Вон тянутся проволоки, но это уже не про-

волоки, а снасти какого-то корабля – парохода...

Вон мачта и парус – нет, это не парус, а белое облако дыма от паровой трубы – и так без конца. Предметы, образы, лица, места, кусты, деревья, поля, города, прохожие, экипажи, вокзалы, комнаты, коридоры – урывки неясных мыслей и мимолетных видений – тяжелый дремотный бред и тревожное чувство ежеминутного пробуждения...

В одну из таких минут вдруг кто-то возле сказал: «Москва!»! и это слово мгновенно отрезвило меня. Я вздрогнула, смутно припоминая что-то, какой-то особенный, важный смысл, связанный для меня с этим именем... Москва?... Ах, да; если они успели телеграфировать, то, конечно, телеграфировали в Москву. Мы будем там сию минуту, и сию минуту все это решится... Какую глупость я сделала! Зачем я не вышла ночью где-нибудь на дороге и не доехала до Москвы окольным путем?... Я потеряла бы много времени, но зато избежала бы этой опасности...

Так думала я, еле живая от страха, прижавшись в своем углу и украдкой поглядывая в

окно, мимо которого уж мелькала знакомая обстановка больших столичных станций: ряды вагонов и лабиринты рельс, навесы с громоздким товаром; большие каменные невыбеленные сараи, потом опять вагоны, вагоны без счета и без конца... Нелепая мысль соскочить на землю в этом лесу вагонов, и скрыться прежде, чем поезд остановится, промелькнула на миг в моей голове, но не успела я подумать об этом серьезно, как потянулась платформа, пустая и мокрая от дождя, который сыпал все утро. Многие из моих соседей встали; я тоже встала и с замирающим сердцем ждала. Наконец поезд остановился, все начали выходить; я за другими... Первое, что я увидела, когда мы выбрались и вошли в вокзал, это – открытая настежь дверь и на крыльце, за дверьми – полиция... Несколько человек пассажиров сейчас же вышли, и их пропустили, не останавливая. Ничто не мешало, по-видимому, и мне выйти за ними, но я нырнула, оторопелая и растерянная в толпе, ожидавшей своих вещей. Мне почему-то казалось, что стоит только теперь появиться в дверях, чтобы немедленно обратить на себя

внимание и быть задержанной... Куда деваться и как миновать эти двери?... Пятясь от них бессознательно и пропуская вперед других, я, наконец, очутилась совсем в хвосте, за толпою. Там, сзади, было просторно, и только носильщики издали катили багаж. Собрав остатки своей развинченной храбрости, я побежала в ту сторону, дальше и дальше; гляжу: направо – другая дверь, тоже открытая; за дверью – платформа... Я выбежала, не чувствуя под собою земли, сперва на платформу, потом с платформы вниз, на какой-то проезжий двор и, наискось, через двор, в ворота. Ворота вывели меня, наконец, на простор, и я очутилась в толпе извозчиков. Впереди, по левую руку, за этой толпой, виден был главный выход, тот самый, которого я избежала. Недолго думая, я нырнула в какие-то крытые дрожки и укатила; куда – мне было решительно все равно, а потому я велела везти себя в «город».

Дорогою у меня отлегло от сердца, и я наконец поняла, что если мне удалось уйти так легко, то это значит, незачем было и уходить, значит: известие еще не пришло и никого не

ищут. Ну а теперь уже поздно искать, потому что Москва не Р**, да и пока они тут успеют пошевелинуться, я успею опять дать тягу. На всякий случай, однако, я приняла свои меры, причем их «город» (то есть гостиный двор) случился тут очень кстати. Когда я ушла из него, никто не признал бы меня за ту женщину, которую видели ночью на станции в Р**. Башлык и ручная сумка исчезли. На место первого появился черный старушечий капор с зеленой вуалью и сверху большой шерстяной платок. А место сумки занял ковровый объемистый саквояж, в который я запихала все, что мне было нужно спрятать, да сверху еще два калача. Тут же, не выходя из рядов, мне удалось, наконец, утолить свой голод, и это, я думаю, больше всего меня ободрило. В начале третьего я была в петербургском вокзале. Хотя к этому времени, как я после узнала, известие было уже в Москве, но я ничего не заметила и никогда впоследствии не могла узнать: искали меня или нет? Я полагаю, что нет, и Поль тоже говорил потом, что если и было что-нибудь, то разве для формы, а в сущности они должны были сами знать, что

опоздали. Как бы то ни было, я не имела покоя, пока не села и не уехала. Тогда, наконец, усталость взяла свое, и десять минут спустя я спала как убитая.

XIII

Странно было после всего случившегося вернуться домой и увидеть вокруг себя все по-прежнему. Няня, и Штевич, и прочие, для них эти три дня промелькнули как три минуты – а для меня!... Мне казалось, что я провела целую вечность в отсутствии и что я уж теперь не та. Первым делом моим, когда я очутилась одна, – было побежать к зеркалу. Воображение или нет, но лицо, которое я в нем увидела, испугало меня. Не то, чтобы оно было особенно бледно или утомлено, а так... не знаю, как рассказать вам, было во взгляде и вокруг рта что-то чужое и дикое, что-то сухое, жесткое, чего я до сих пор не видела или не замечала. Это ужасно меня смутило, особенно когда я подумала, что это могут заметить, кроме меня, и другие... Это?... Что это?... Я не могла ничего себе объяснить; я только смутно догадывалась, что стою теперь особо. Между мной

и другими людьми, казалось, лежит что-то незримое, что отделяет меня... от всех?... Нет, к счастью, не от всех. Есть один на моей стороне, и этот один, думала я, теперь мой товарищ до гроба. Для него одного я пара. Ему одному я могу все сказать... Понятно, что мне не терпелось увидеть его как можно скорее, чтобы поделиться своей тяжелою ношею.

Писать для этого не было надобности. Достаточно было зажечь свечу и поставить ее к шести часам у окна, чтоб он уже знал, что я дома и что к 8-ми буду в Коломне, у Покрова, в обыкновенном месте наших свиданий... Но я поставила не одну свечу, а две. Другая служила знаком, что дело сделано и ее уже нет в живых.

Мы встретились молча и долго сидели так... Я плакала, его лицо было мрачно как ночь... Наконец, он стал спрашивать, как это было, и я ему рассказала как... Он выслушал меня без вопросов, без замечаний, но по тому, как тяжело он дышал, я могла догадываться, что и он тоже неравнодушен.

Когда я кончила, чувство жестокого торжества осветило его лицо.

– Ну, – сказал он, – теперь ты моя!... Пони-
маешь ли ты это! Бес! Дьявол! Моя на всю
жизнь!

Лицо его было так страшно, что я отодви-
нулась в безотчетном испуге, но он не дал
мне и слова выговорить. Глаза его вдруг заго-
релись диким огнем; он кинулся на меня, как
зверь, и смял в страстных объятиях...

Вечер прошел как одно мгновение. О смер-
ти и мертвой не было больше речи. В угаре
страсти все было забыто, даже опасность...

Последняя, впрочем, как оказалось впо-
следствии, была несерьезна. Розыски, правда,
тянулись до февраля, но они ничего не откры-
ли, и меня оставили совершенно в покое. Это-
му много способствовали, конечно, те меры
предосторожности, о которых я вам рассказа-
ла, и между ними больше всего ее письмо, но,
если не ошибаюсь, были еще и другие причи-
ны. Как раз около этого времени в Р** стали
ходить разного рода слухи насчет того, кто
была женщина, посещавшая Ольгу тайком, и
по какому делу они имели свидание. Один из
этих слухов, не хочу уж рассказывать вам те-
перь какой, был нам с руки. Он был подхва-

чен и пущен в ход так ловко, что это всех сбилось с толку, зажало рот нашим злейшим врагам и скоро поставило нас вне всякой дальнейшей опасности. Так думали мы, по крайней мере в ту пору и долго после.

Больше двух лет прошло в этой счастливой уверенности. Тем временем вся обстановка моя переменилась. Началось это с того, что мы купили развод у Штевича. Дело устроено было негласно, через посредство маман, которая приютила меня у себя на время. Поль ездил к нам открыто, потом посватался, тоже через маман, и мы были обвенчаны с ее благословения.

Счастье сопровождало меня и далее, редкое счастье, если сообразить, как поздно оно пришло!... Скоро после второго брака я стала матерью... Никому не приходило в голову заподозрить, какую ценою куплено это все. Я одна знала про то, но цена перестала казаться мне тяжкою с тех пор, как на руках у меня и у сердца лежал невинный ангел, явившийся, как мне казалось, залогом милости и прощения.

Так думала я в ту пору, и мысли этого рода

подчас облегчали чудесным образом свинцовую тяжесть греха, лежавшего у меня на совести. Страх кары на этом свете и в будущем слабел в их присутствии и бич безотвязных воспоминаний висел опущенный. Но я ошиблась)... То, что я приняла за помилование, было не более как отсрочка.

ЧАСТЬ III. Каменный гость

I

С.-Петербург, 10-го сентября. Вернулся сюда
вслед за известием, которое сообщил мне
Z**. Чудеса!... Процесс наш выигран, и эти
деньги, которые мы считали потерянными,
достаются-таки нам в руки!... Кто мог предви-
деть это?... Вчера целый вечер сидел у Z**. На
мою долю, за вычетами, приходится 32 тыся-
чи с лишком. А не далее как полгода тому на-
зад, если бы кто предложил мне за все это де-
ло 3000, я принял бы с радостью!...

M** и служба моя в компании брошены
навсегда. Вчера покончил с правлением и по-
лучил еще, по расчету, 124 рубля с копейка-
ми...

Подарил их хромому писарю, который но-
сит бумага от Z**... Свобода! Как поздно при-
шла ты, а между тем все так же мила; пожа-
луй, еще милее теперь, после стольких годов
неволи...

Однако, все это не то, и я не знаю даже, за-

чем я это пишу... Дело вот в чем: я встретил ее... Это было у Горбичевых. Меня представили ей в качестве родственника и приятеля ее мужа. Услыхав мое имя, она посмотрела пристально мне в лицо, потом покраснела, потом избегала меня весь вечер и на мои попытки вступить в разговор отвечала уклончиво.

Когда я спросил: увижу ли я ее мужа сегодня вечером, она обернулась ко мне по первому слову с каким-то окаменелым лицом и больше чем удивленным, почти испуганным взором; словно она ожидала услышать дерзость или, по крайней мере, нескромными намеками на прошлое. Но мой невинный вопрос обезоружил ее.

– Да... может быть... не знаю, – отвечала она рассеянно. – А вы спешите увидеть его?

Я стал объяснять, что мы не виделись три года.

– Что ж вам мешает его навестить? – перебила она коротко и сухо.

Я не знал, что на это сказать, и отвечал ей какой-то вздор, прибавив, что я не знаком семейством.

– То есть со мной? Ну, это неправда... то

есть неправда, чтоб это могло вам мешать! – договорила она проворно, заметив свой промах, и отвернулась.

Больше мне с ней не пришлось говорить! Я ждал Бодягина, сам не зная зачем, и, не дождавшись, уехал.

Теперь о впечатлении. Должен прежде всего сказать, что я был обманут в своем ожидании. Я почему-то думал, что ее сразу узнаю, а вышло, что не узнал. Между нами стояло что-то искусственное.

Это был след мимолетной встречи, образ, носивший когда-то подлинные ее черты, но я работал над ним впоследствии, переправляя и дополняя так долго и так усердно, что сходство исчезло и на месте живого воспоминания остался какой-то продукт фантазии. Вышла преглупая вещь. Фантазия эта, руководимая последующими догадками, пересоздала ее с головы до ноги превратила в какую-то Борджиа или Бренвильер [19], со всеми милыми свойствами этого рода характера, написанными на лбу *en toutes lettres* [20]. Нужно ли говорить, что я не нашел ничего подобного. Передо мною теперь, как и прежде, стояла

статная молодая женщина с простым и свежим лицом, на котором, в эту минуту по крайней мере, не было ничего трагического... Парадный туалет сбил меня окончательно с толку. «Бодягина! Ну, это совсем не то... Но не успел я сказать себе это, как что-то знакомое остановило мое внимание: память попала на след; звено за звеном, правда реального впечатления воскресла во всей своей полноте, и я узнал ее... Это была несомненно она – Ю. III., моя попутчица и любительница хороших сигар. Ее манеры, голос и взгляд, ее светлые волосы и глаза, ее роскошный стан, и страстный подъем плечей, затаенная нега телодвижений – все это было знакомо, и вместе казалось ново, так ново, как будто я никогда ее не видал.

«Фу! Как чертовски похорошела!» – сказал я себе, и, странно, – сердце забилося, как у влюбленного после двухлетней разлуки. И пульс был, конечно, другой, но механика до того похожа, что я испугался. Я не мог себе дать отчета, что со мной делается. Меня влекло к ней какое-то жадное любопытство. Мне трудно было отвести от нее глаза. И я украд-

кою вглядывался в ее лицо, стараясь найти в нем если не древний знак, по которому, говорят, можно было узнать иных людей, то, по крайней мере, хоть что-нибудь, какой-нибудь след... Нет, ничего! Ни тени!... Она сидела передо мною' весь вечер, гордая и сияющая. Успех написан был у нее на лице и, судя по тому, как ее ласкали у Горбичевых, успех, одобренный светом. Чего же еще?... Она спокойна – значит ей нечего опасаться. Но если ей нечего опасаться, то отчего же она избегала меня? Отчего ее взор, встречаясь с моим, скользил так упорно мимо, и отчего, когда я пробовал с нею заговорить, она обернулась ко мне с таким лицом?... На этот раз в нем было что-то застывшее и немое, но не спокойное. Она была испугана, чем? И что она рассказала мужу, когда воротилась домой?... О, дорого бы я дал, чтобы знать истину. Да как узнать ее теперь, когда все это кануло в воду?... Они уже с год как обвенчаны, и у них есть дочь, и никто их не обвиняет, не трогает. История об отравлении давно поступила в архив тех ба-сен, к которым, натешившись ими до отвращения, публика начинает потом относиться

скептически и кончает глубоким забвением. Z** не хочет больше и слышать об этом. Пустяки, мол, все выяснено. Тетушка Софья Антоновна тоже молчит... Забыла? Что же, пора, значит, и мне забыть. К чему ведут все эти вопросы, которые я не могу решить, и эти бесплодные подозрения? Как ни натягивай, а надо же наконец сознаться: я не уверен. Я не могу поручиться, что все это не совпало случайно, и, стало быть, не могу ее обвинить публично. А мимо этого все пустяки. Я не Лекок [21], чтобы открыть через три года то, что не в силах были открыть артисты сыскного дела, люди, которые зубы съели на этого рода вещах.

Что же дальше?... Ничего нет и быть не должно, это ясно как день, а все-таки я пойду к ним... Чувствую, что я глупо делаю, – порчу только себе напрасно кровь и чувствую, что из этого ничего не выйдет, кроме дурачества, а все же пойду... Тянет...

Был поутру и не застал никого, или не при-

няли?... Лучше всего бы сделали, если бы заперли двери раз и навсегда. Тогда и глупости этой конец. Чего мне нужно от них? Я его ненавижу, ее не знаю; я бы желала, чтобы она была за тысячу верст отсюда, а вот, кокетничаю с визитами!

Бодягин был... Сейчас, воротясь домой, нашел у себя его карточку и на листе бумаги, особо, несколько слов: «Любезный друг Черезов! Пожалуйста, не финти с визитами, а, благо уже знаком с моею хозяйкой, приезжай просто к обеду, завтра или когда удобно, к 6-ти. П. Б.»

Живет как Ротшильд, этот недавний хлебник и прихвостень знатной родни, который пять лет обивал пороги у К-ва и был недавно еще в долгу по горло... Теперь квартира в 3 000; шестерка заводских, и буфетчик, и метрдотель, и целая шайка челяди... За обе-

дом была довольно большая компания и между нею знакомые имена, хотя в лицо я почти никого не помню. Невольно думается, что я у них тут напоказ, кузен по первой жене и живой свидетель, что между ее родней есть люди, не ставящие ему в счет того, в чем он ни душою, ни телом не виноват...

К вечеру, впрочем, все это разъехалось, и мы пили чай по-семейному. Она сама разливала. Ее опять узнать было невозможно. Сущий хамелеон! Ни следа недавней холодности: мила, внимательна и любезна. Должно быть, он надоумил... Впрочем, она говорила мало и ничего серьезного, он взял это все на себя. Поздравил меня с удачей, расспрашивал, что я теперь намерен делать, журил за старое и уверял, что пора, наконец, взяться за ум...

– Mieux vaut tard, gue jamais, mon cher! [22]

Время еще не ушло; напротив, оно никогда не было так удобно. Ты попал сюда в самую пору и в самых счастливых условиях. Когда-нибудь я тебе все это объясню... Сколько, бишь, ты сказал, тебе приходится?... Хо, хо брат! «Только», ты говоришь?... О! Простота!

Да ты что думаешь? Тридцать две тысячи чистых, мобилизованных, так что вот взял, да и вывел в любую минуту, это, mon cher, такая армия, с какою немногие вступают в поход. Это, если им дать надлежащий форс, пойдет за полтораста, за двести... Я не имел ничего подобного. Пять лет назад, когда я сошелся с П** и мы оснастили суденышко, с которого, собственно, и началось мое плавание, знаешь ли, сколько у меня было в наличности?... 500 рублей.

– Не может быть!

– Клянусь тебе честью, ни гроша более... Правда, я только что перед тем уплатил тысяч 15-ть долгу, из денег П**, разумеется, но это поставило мой кредит в такое цветущее положение, что через полгода мне дали срок... Слушай, расскажу тебе.

И он рассказал, довольно цинически, как ему удалось встать на ноги. Потом пошла старая песня: как он получил и продал концессию.

– Это было как раз перед нашею встречей, три года тому назад; помнишь, еще обедали у Бореля и говорили об Ольге?

– Помню.

– У меня это осталось в памяти, потому что она... ты знаешь?... Это случилось скоро после того, в ноябре.

Я смотрел ему прямо в глаза, но не мог уловить его взгляда. – Тебя известили, конечно?

Я отвечал, что получил известие через три недели от Софьи Антоновны.

– Ох уж мне эта Софья Антоновна! Обязан я ей, много обязан!... Чего они только тут не наплели?... Ты слышал, конечно? Ну, скажи, ради Создателя, есть ли совесть? Хотя, конечно, о совести нечего говорить, когда у людей в голове нет здравого смысла... Пойдем в кабинет.

Мы пошли в кабинет, а она куда-то, должно быть в детскую... У нее есть дочь, грудной ребенок.

– Много обязан! – ворчал Бодягин. – Много!... Садись, потолкуем. Я рад, что ты наконец воротился, рад между прочим и потому, что теперь есть хоть один живой человек, которому я могу рассказать по-приятельски все, что я вынес в ту пору... Хочешь сигару?

В кабинете горела одна большая лампа под

абажуром, который сосредоточивал свет в небольшом кругу. Мы сели с ним у камина: я боком, а он спиной к лампе. Лицо его было так слабо озарено багровым отблеском кокса, что я не мог хорошо разглядеть выражения.

– Да, – продолжал он, вздохнув, – наделали они мне в ту пору хлопот! Благодаря им и только им одним, я вынужден был показать это письмо, которое прекратило следствие... Ты имеешь понятие, как это было? Постой, я тебе расскажу, только на вот, сперва прочти.

Он достал из стола письмо Ольги, то самое, о котором писал мне Z**. Он не мог ничего хуже выдумать, но об этом после.

– Ну что? – спросил он, когда я кончил. – Ясно, не правда ли?

– Ужасно! – вырвалось у меня. Но он не понял, к чему это относится.

– Да, – повторил он, – ужасно! И тем ужаснее для меня, что я оплошал в этом случае. Я никогда не прощу себе, что отложил это дело. Я должен был ехать к ней в P** немедленно, добиться, что это значит, и успокоить ее. Только мне в голову не пришло. Я думал, что она так, дурит... Сам посуди: мог ли я верить

этому? Мог ли я допустить, хоть на минуту, чтобы она, в здравом уме и в памяти, не только решилась сделать такую глупость, а даже имела ее серьезно в виду?... Из-за чего? – После я понял из-за чего, но в ту пору я был, ей Богу, во всех отношениях за тысячу верст...

Он замолчал и задумался.

– Она писала тебе перед этим? – спросил он минуту спустя.

– Писала раз.

– Ах да, кстати, скажи, пожалуйста, ты был у нее в последний приезд?

– Был.

– И ничего не заметил?

– Ничего, что могло бы навести на мысль о подобной развязке. Она тосковала, и я нашел ее очень переменившеюся с лица...

– Ну, а помимо этого и помимо лица, – так, вообще?

– Ничего.

– Странно! А впрочем тебе, конечно, и мысль не могло прийти. Я сам не мог составить себе никакой догадки, пока не узнал, кто была эта... которую видели у нее за час до смерти и из-за которой вышла вся эта сказка

насчет отравы... Потом оно выяснилось... какая-то повитуха...

Я вздрогнул, и это не избежало его внимания.

– Жила сперва в Р**, потом наезжала туда. Когда они познакомились, и чего Ольге нужно было от нее на первых порах, неизвестно. Женщины этого рода имеют часто рядом с открытым их ремеслом два или три другие – тайные. Но есть догадки, мало того, почти доказательства, что этот приезд ее был не первый, и нет никакого сомнения, что Ольга через нее получила яд. Трудно только сказать, когда. Я полагаю: ранее, и полагаю, что женщина эта не ожидала того, что случилось, то есть, или ошиблась в средстве, или рассчитывала, что яд не будет принят, по крайней мере, немедленно; потому что иначе она не сделала бы такого дурачества...; Теперь, надеюсь, ты понимаешь? – сказал он, видя, что я молчу.

– Нет, – отвечал я, – не понимаю. Ты хочешь сказать, что она была...

– Беременна; это почти несомненно. Что ж делать? Я ее не виню. Если бы я знал, я бы ее

увез из Р** и дал бы возможность скрыть это.

– Ты шутишь?

– Нет.

– Ну, полно, Бодягин, признайся: шутишь?

– Клянусь тебе честью, нет.

– Но это должно было бы открыться?

– Да, если б ранее не открылось другое. Яд было нетрудно найти, это бросалось в глаза и в нос... Остальное могло ускользнуть от внимания. Впрочем, не знаю; я не читал их протоколов; думаю только, что в них об этом не упомянуто, потому что меня об этом не спрашивали.

– Но как могла повивальная бабка дать яд?

– Не знаю; дала. Может быть, и сама не знала что, потому что они вообще не много знают. А может быть, и знала; да ей-то что?... Не ей ведь околевать.

– Что же, ее так после и не нашли?

– Ее-то? Нет. Ее, собственно, вовсе и не искали, так как, на первых порах, не знали, кого искать, а потом, когда это письмо стало известно, нашли, что убийства не было, и следствие было прекращено. То, что я сообщил тебе, дошло до меня как слух, которому я, на

первых порах, не придавал значения и уже после, доискиваясь на месте, в Р**, до его источников, вынужден был убедиться, что это правда. Все это, само собой разумеется, дозна-но было негласно, и стоило мне огромных хлопот, не говоря уже об издержках.

Терпение мое лопнуло ранее, и мне было уже все равно, что он говорит. Я ждал только случая оборвать его так, чтобы он помнил это и никогда вперед не осмелился повторять при мне ничего подобного.

– Ну, – произнес я, – если все это не шутки, то я тебе вот что скажу, Бодягин: хлопоты и издержки твои пропали даром.

– Ты думаешь?

– Да, думаю; мало того, я ручаюсь тебе, что все это вздор. Не знаю, кто сообщил тебе все эти сведения, но кто бы он ни был, он лжет. Я не могу постичь, как ты поверил ему, как ты не плюнул ему в лицо!

– Не горячись, Черезов, – сказал он, но тот-час же вслед за тем, понизив тон, прибавил, – я понимаю, что это тебя шокировало.

– А тебя нет?

– Ну да, и меня сначала, но ты меня зна-

ешь. Я, братец, смотрю на эти вещи совсем иначе. Что ж тут такого особенного, если бы и была... Дело естественное. Мы жили три года врознь, и она была, фактически, уж давно свободна.

– Нет! – вскрикнул я, выходя из себя. – Она не была свободна. Она была твоя вся до конца костей, твоей осталась до смерти, и ты это знал, знаешь лучше, чем кто-нибудь. Как мог ты, зная ее, поверить? Да что я говорю, поверить! Ты сам не веришь этому; теперь, в эту минуту, когда говоришь, – не веришь!

– Трудно не верить факту.

– Какому факту? Кто тебе сказал, что это факт? С тебя даром содрали деньги – вот факт. Я видел ее своими глазами за семь недель до смерти, и она мне открыла всю свою душу... Я знаю, что этого не было. Я голову ставлю, что нет. Это проклятая, подлая ложь, клевета.

Я смотрел ему прямо в глаза, а он смотрел в землю.

– На что же ей была повитуха? – произнес он нетвердым голосом.

– Это была не повитуха.

– А ты почему знаешь?

– Я знаю. Я был у нее в сентябре, как раз после того, когда эта женщина приезжала к ней в первый раз, и Ольга мне говорила о ней... Это была не повитуха.

– А кто же?

– Не знаю, кто... Она приезжала под ложным именем.

Он замолчал, и я тоже. Сигара моя потухла, но мне было не до нее. Мне нужно было немного света, чтобы увидеть его лицо. Возле меня, на столике, стояли свечи и спичечница. Я зажег спичку, потом свечу. Покуда я это делал, он встал и начал ходить по комнате, но не мог совладать с собой так быстро, чтобы скрыть от меня, что в эту минуту происходило с его лицом. Не то, чтоб оно было особенно бледно или как-нибудь очень искажено, но на нем было что-то глубоко встревоженное и озлобленное, что-то, напоминавшее крысу, шныряющую в своей западне, не находящую выхода. Сходство еще было усилено тем, что он бегал взад и вперед, и глаза его бегали, не останавливаясь, то туда, то сюда, во все стороны, кроме того угла, где я сидел.

– Это меня удивляет! – бормотал он, не об-

ращаясь ко мне. -Этого я не знал... Значит, тут было еще лицо... Под чужим именем?... Под каким именем? – произнес он, вдруг останавливаясь передо мной.

– Под именем баронессы Фогель.

– Фогель! Кузины Фогель! Ах, Боже мой! Это странно... Неужели это была она?

– Нет; я тебе уже сказал, что имя было фальшивое.

– Но каким образом ты узнал?

– От Ольги.

– Нет, я не то... Я спрашиваю, как ты узнал, что это была не Фогель?

Я объяснил ему коротко, что я писал об этом из М** и что по этому поводу деланы были справки.

Тревога его росла... «Зачем же она приезжала?» – спросил он глухим, сдавленным голосом.

«Ну, нет, брат, довольно с тебя покуда», – подумал я.

– Не знаю, – ответил я. – Ольга мне говорила об этом что-то, несколько слов, на которые я в ту минуту не обратил внимания.

Мы замолчали, и он опять забегал.

– Ты, стало быть, думаешь, что это та самая, которая приезжала потом, в ноябре?

– Конечно та. Ее узнали в том доме, где она останавливалась.

– Но может быть, – продолжал он растерянно, – может быть, эта, которую, ты говоришь, узнали, и которая приезжала два раза, была не та, о которой тебе говорила Ольга?

– А какая же?

– Да эта... другая...

– Какая другая?

– Бабка.

– Нет, это была не бабка.

– Почему ты знаешь?

– Знаю. Никакой бабки не было. Это ложь!

– Черезов! – вскрикнул он вдруг, останавливаясь. Зная его издавна, я ожидал бешеной выходки, но точно что-то было надломлено в этом человеке. Он постоял, посмотрел, и на лице у него мало-помалу затеплилось нечто похожее на усмешку.

– Ну, Бог с тобой! – произнес он, махнув рукой. – Я не могу на тебя сердиться за то, что ты так горячо берешь ее сторону. Я перед нею, конечно, неправ, и дело, конечно, темное.

Оставим его; нечего сызнова поднимать все эти дразги. Дай руку! Я тебя всею душою уважаю, люблю и надеюсь, что мы с тобою всегда останемся в старых приятельских отношениях.

На этом мы и покончили. Я взялся за шляпу, но он не хотел меня отпустить, и мы просидели еще часа полтора. Вошла она. Болтали о пустяках.

Когда я вернулся домой, горячка моя совсем остыла. Я начал припоминать на досуге случившееся и мог наконец понять, какую глупость сделал. Я вел себя как дитя; вместо того, чтобы выведать что-нибудь, я сам проговорился и выдал себя кругом. Дивлюсь, как я ему не сказал еще, что узнал его Юшу, что мы с нею оба ехали в Р** и что это она отравила Ольгу. О, простота!... Теперь все кончено; они будут настороже и их уже не накроешь врасплох... Сначала, когда я сказал это себе, я был в отчаянии; но за ночь оно прошло, и теперь я спрашиваю себя: жалеть ли, что это так вышло, или поздравить себя? Чего я хочу? Чего мне нужно от них? Покаяния, что ли? Конечно, нет, а если нет, то к чему раскапывать эту

грязь?... Конечно, так и кончено, – ну их к черту!

II

Одним из несчастнейших приключений жизни моей была эта дорожная встреча, а между тем, как случай, она не имела в себе ничего особенного. Кондуктор ночью впустил какого-то господина в купе, где я сидела одна. Господин этот спал, как сурок, несколько станций, потом проснулся, вступил со мной в разговор и, узнав, что я в затруднении по части спокойной квартиры в Москве, предложил мне свои услуги. Мы с ним отправились вместе, нашли какие-то номера, я почти не видала его. Всего только раз мы сошлись и просидели с ним часа два, курили, шутили и говорили вздор. Ни слова о том, зачем он приехал или зачем я тут, и после этого я его не видала. Самое имя его я узнала случайно. Могла ли я думать, что это будет иметь какие-нибудь последствия? А между тем это-то именно и была ловушка, которую приготовила мне судьба!...

Его звали Черезов. Он служил за границей,

в М**, и приезжал на короткий срок. Это был господин лет за тридцать, смуглый, с серьезным лицом и с умными выразительными глазами. Судя по тому, как он вошел в купе и тотчас улегся, я заключила, что не услышу от него ни слова дальше того короткого извинения, которое он мне предложил по-французски. Но я ошиблась. Он был потом очень внимателен и любезен; в Москве, в его номере, это зашло даже несколько далее, но я была осторожна на этот раз, и все окончилось пустяками.

Три года после того о нем помину не было. Когда я развязалась со Штевичем и вышла за Поля, у меня образовался круг новых знакомств. Но ни малейшей мысли, что я могу его встретить в этом кругу, не приходило мне в голову, как вдруг – это было у Горбичевых, – смотрю: мадам Горбичева подводит ко мне какого-то господина...

– Юлия Николаевна, позвольте мне вас познакомиться, если только вы не знакомы уже, Сергей Михайлович Черезов, старый приятель и даже отчасти родня Павла Ивановича.

Что-то знакомое в звуке имени остановило

мое внимание на его лице. Смотрю, и лицо как будто знакомо... «Родственник Поля?... Черезов? – промелькнуло в моем уме. Какой Черезов?... Ах!» – и я вдруг узнала его... Все это было так неожиданно, что кровь бросилась мне в лицо, и стало вдруг как-то неловко в комнате, как-то не по себе, особенно когда я припомнила обстоятельства, при которых я встретила этого человека. А тут, как нарочно, Горбичева шепнула, что это родня по первой жене. Я не могла себе объяснить хорошенько чувство тревоги, которое охватило меня при мысли, что и он, вероятно, тоже узнал меня, и что он может при всех напомнить мне нашу встречу. Все это черное, что мне удалось так счастливо схоронить и что лежало под спудом, три года не подавая голоса, вдруг шевельнулось и, словно подкравшись, выглянуло из-за угла.

Надо однако отдать ему справедливость: он не сделал и виду, что узнает меня. Держал себя скромно, и раз только за целый вечер обратился ко мне с каким-то пустым вопросом о Поле. Но нервы мои были уже не прежние, и я, не давая себе даже труда дослушать, так

струсила, что, думаю, он не мог не заметить. После того мы сказали друг другу несколько слов, и он оставил меня в покое.

Возвращаясь домой от Горбичевых, я чуть не плакала – так у меня вдруг стало на сердце. «Зачем, – думала я, – зачем это случилось?... Неужели на свете так мало места, что всякий, кого мы когда-нибудь встретили и с кем мимоходом сказали несколько слов, должен потом опять непременно явиться и стать у нас на пути, как человек этот стал теперь на моем, непрошенным гостем, неловким, докучным, опасным свидетелем ненавистного прошлого, которое я и так напрасно стараюсь забыть? Что делать теперь? Надо сказать это Полю». И я сказала.

Услыхав имя, он крепко поморщился.

– Вот черт принес! – проворчал он. – Ты знаешь, кто это?... Это ее двоюродный брат и наперсник, сердечный друг.

– И твой тоже?

– Мой?... Да, пожалуй, мы с ним товарищи и на «ты».

Я колебалась. Он ничего не знал еще о дорожной встрече. Сказать или оставить на бо-

жью волю? Последнее было рискованно, потому что теперь это могло открыться и мимо меня. К тому же, думала я, мне нужен его совет, да и ему не мешает быть наготове.

– Постой, Польша, – сказала я, видя, что он собирается уходить. – Я забыла тебе сказать: этого Черезова я встретила... прежде, когда он сюда приезжал.

– Встретила?... Ну, так что ж?

– погоди, выслушай... Это было в ту пору, когда я ездила в Р** первый раз, на Московской железной дороге, в вагоне, так что мы с ним немножко уже знакомы.

– Как так знакомы?

– Так... мы разговаривали дорогой.

– Ну!

– И стояли в одной гостинице.

– В какой гостинице, где?

– В Москве.

Лицо его вытянулось, и он смотрел на меня в изумлении, как бы недоумевая, что это значит, и ожидая чего-то дальше.

– Ну, – сказал он, видя, что я молчу. – Продолжай, я слушаю. До сих пор все ладно и все как две капли воды на тебя похоже. Связалась

дорогою с первым встречным, ехали вместе, стояли вместе... Еще что у вас было вместе?

– Ничего.

– Лжешь! Было!

– Клянусь тебе Богом, нет.

– А почему же ты не сказала об этом в ту пору?

– Я не считала это важным.

– Лжешь!

– Я никогда тебе не лгала.

– Да, это теперь особенно кстати; теперь вот и видно, как ты не лгала. Тьфу! Вот поди, положишься на женщину! Петля на шее, каждый шаг рассчитан, а она подхватила прохожего по пути! Мило! Забавно, не правда ли?

Не стану описывать всей этой сцены, потому что она была отвратительна. Расскажу только то, что имело какой-нибудь смысл.

– Славную ты находку сделала! – говорил он, ругаясь и издеваясь. – Ты и сама еще не догадываешься, какую славную, и как это нам с руки... Знаешь, куда он ехал?

– Нет.

– Ну, так я же тебе скажу, чтобы ты могла измерить всю глубину твоего дурачества. Он

ехал туда же, куда и ты; ехал к ней в Р**, это теперь несомненно. Я слышал уже давно от кого-то, что он был там около этой поры.

У меня в голове помутилось, и я сидела растерянная. Этого только недоставало!

– Недоставало немногого, – продолжал он. – Недоставало вам вместе туда приехать и погулять там еще сутки-другие.

– Поль!

– Да почему же нет? Молчание. Я утирала глаза.

– Что ж он, узнал? Да полно нюнить, дура!... Отвечай сию минуту, когда я спрашиваю.

– Не знаю, – отвечала я, – может быть. Но если узнал, то не подал виду.

– Намеков не было?

– Нет.

Он долго сидел, сжимая в ладонях виски, и думал.

– Его нельзя так оставить, – сказал он глухо, и вдруг, обернувшись ко мне, добавил: – Чего вздрогнула? У тебя все одно на уме! Выбрось ты это из головы, пожалуйста. Да не пугайся; я не к тому это сказал. Я говорю только,

что его нельзя упускать из виду. Надо его обыскать. Он не может знать много, но он единственный человек на свете, который может знать что-нибудь, и в этом смысле заслуживает внимания.

Дней через пять после этого Черезов был у нас; потом через день обедал и просидел весь вечер. Сделано было, что только возможно, чтобы его задобрить и, как казалось, не без успеха. Но после чаю, когда разговор коснулся этой истории, Поль увел его в кабинет, и я до конца не знала что у них там. Помню только, что когда я вошла, все уже было кончено, и оба они показались мне как-то расстроены, особенно Черезов, который был бледен и молчалив, моргал, ежился, щипал себе бороду и кусал усы. Что касается Поля, то он, напротив, болтал без умолку и казался необычайно весел; только меня это не обмануло. Я видела по их лицам, что дело неладно и что у них было что-то. В первом часу он ушел. Мы проводили его в переднюю, жали руки, заставили дать слово, что он у нас будет часто, как можно чаще и без приглашений, к обеду, когда угодно. Но как только захлопнулась дверь, мы по-

смотрели друг другу в глаза и кинулись чуть не бегом в кабинет.

Лицо его вдруг осунулось.

– Что это значит? – спросила я.

Он опустил в кресло и молча, растерянным взором, смотрел на меня. Мне стало страшно.

– Поль! Ради Бога, не мучь меня!

– Постой, – отвечал он. – Дай отдохнуть... Я устал, как собака... Дай коньяку.

Я принесла ему коньяку. Прошло минут пять. Сердце мое то билось, как птица в клетке, то замирало. Я не могла дольше вытерпеть.

– Да что такое? Ради Создателя!... Скажи что-нибудь, хоть слово!

– Скверно! – сказал он. – Садись, я сейчас тебе расскажу. И он рассказал мне, вкратце что между ними произошло. Поль

пробовал объяснить ему дело по-своему, рассчитывая, естественно, что это удастся так же легко, как с другими, но он ошибся. Тот выслушал, вспыхнул и отвечал ему наотрез, что это ложь. Но, вслед за тем, он и сам увлекся. Он был раздражен до крайности тем, что

называл клеветой, и сгоряча высказал Полю такие вещи, которые перепугали того до смерти. Сказал ему прямо в глаза, что Ольга отравлена, что он был в Р** следом за женщиной, которая приезжала туда в сентябре, слышал от Ольги об этом приезде, знает фальшивое имя, которым приезжая назвалась и... что-то еще. К несчастью, он не сказал, что именно, и это, как Поль говорил мне, хватаюсь за голову, «хуже всего!» Но он это понял потом, когда пришел в себя, а в ту пору, я, говорит, сто раз благодарил судьбу, что он не сказал мне больше.

– Была минута, – рассказывал он, весь бледный, – когда я думал, что все пропало. Прибавь он хоть слово лишнее, хоть заикнись, и я не знаю, чем бы это кончилось. Я думал, что с ума сойду, или, недалеко до этого, схвачу его за горло. Но он помямлил и замолк. Не помню, мол, говорила что-то, не обратил внимания. Слышишь?... Не обратил внимания!

Я слушала, но с трудом понимала. Мне чувствовалось, словно пол подо мною проваливается и стены, качаясь, грозят задавить. Он

посмотрел на меня.

– Эге! Да у тебя губы белые! – сказал он. – Это скверно, потому что мне нужно с тобою серьезно потолковать. На, выпей глоток. – Я выпила. – Слушай. Я не верю ему ни на копейку. Он должен знать больше, чем говорит, и это нельзя так оставить. Надо или все сразу выведать, или зажать ему рот, пока не выведали. Главное, чтоб он не болтал; другой беды я покуда не вижу, потому что знаю его. Он мямля и резонер: будет взвешивать и обдумывать целый год, покуда решится на что-нибудь. А чтобы он не болтал покуда, надо ему замазать рот. Я сделаю все, что возможно, со своей стороны. Ты тоже подумай. Смекаешь?

– Нет, – отвечала я.

– Тьфу, как ты некстати тупа! Надо его купить, говорю я тебе, и ты должна с своей стороны помочь мне.

– Чем?

Он топнул ногой.

– А чем ты испортила дело? Из-за чего мы теперь дрожим и хлопочем, когда могли бы и в ус не дуть? В ту пору небось хватило смыслу поставить весь план вверх дном, а теперь, ко-

гда предлагают поправить дело, у тебя не хватает ума понять, что всякая институтка поймет с двух слов? Какой ваш первый и последний урок? Чем вы торгуете с тех пор, как вам в первый раз надели длинную юбку, и до тех пор, пока у вас зубы не выпадут? Чем покупаете и за что продаете людей?... Ну, поняла?

– Поняла.

Он долго смотрел мне в глаза, потом медленно поднял палец и погрозил.

– Только чур, помни, Юшка, не увлекаться!... Играй какую угодно игру, но будь холодна как лед. Помни, что если ты наглупишь еще, то мы оба за это поплатимся дорого, страшно дорого!

Он замолчал, и мы сидели с минуту в раздумье; потом разговор вернулся мало-помалу к догадкам.

– Что он мог узнать от нее? – спросила я между прочим. Поль отвечал, что это трудно сказать. Может быть, ничего, а может быть больше, чем нужно, чтобы потом связать концы с концами в своей голове.

– Ты думаешь, он догадывается, что это я?

– Весьма вероятно. Но это само по себе еще

небольшая беда. Мало ли кому может прийти охота догадываться? Повод прямой: ты вторая жена, стало быть, ты и отправила к черту первую. Это вздор! Важно не то, к чему приводит догадка, а то, откуда она идет, ее основания и источники. Это-то прежде всего и надо узнать.

Мы просидели до свету.

III

Был у Софьи Антоновны. Оказывается, что эта басня насчет беременности и прочем известна здесь многим. Слух пущен был в ход два года тому назад, пожалуй, даже и ранее, ибо это пришло сюда в Петербург из Р**. Это зажало рот всем, кому дорога память несчастной Оли. Мало того, это ввело в сомнение даже таких людей, которые знали и знают отлично сами, что это ложь. Тетушка, например, даже озлилась, когда я у ней спросил: неужели она верит хоть на волос этой сказке? А между тем и у ней на уме есть что-то, какой-то ребяческий страх, так сказать, чтобы из темного уголка как-нибудь, паче чаяния, не выглянули рога и хвост той самой хи-

меры, от которой она так усердно отрещивается. По крайней мере, она была очень затруднена, когда я пристал к ней с расспросами, отчего она не сказала мне до сих пор ни слова об этом слухе, и отчего она вообще молчит, она, которая громче и дольше всех кричала, что Ольга отравлена, и чуть не в глаза обвиняла мужа? И это не со вчерашнего дня. Ее письмо с известием о женитьбе Поля – письмо, которое я получил в М**, назад тому уже с год, не содержало в себе почти ничего, кроме имени новой жены; никаких сведений об этой особе, никаких подозрений, намеков. Все, чего я теперь успел от нее добиться, – это что люди злы, что кривой толк плодovit на выдумки и что есть случаи, когда честь семейства повелевает молчать.

Все это, признаюсь, вводит в соблазн и меня. Не то, чтобы я усомнился в Ольге, – это немислимо, но я начинаю думать, что может быть, в основании этой бессовестной клеветы есть нечто, какое-нибудь первоначальное зернышко правды, из которого она развилась и которое сообщило ей эту силу. Легко могло быть, что Ольга действительно имела ко-

гда-нибудь дело с подобною личностью. Для этого нет нужды быть непременно беременною. Мало ли есть недугов, мнимых не менее, чем действительных, на счет которых женщина робкая без крайней необходимости не скажет ни слова своему доктору и, худо ли, хорошо ли, всегда предпочтет совет другой женщины. И женщина эта, раз допустив, что такая была, конечно, могла переехать из Р** куда-нибудь поблизости, после чего нетрудно уже представить себе, что Ольга могла воспользоваться ее случайным прибытием на короткий срок, могла даже выписывать ее по железной дороге, для совещаний. Одно только скверно, трудно остановиться на этом пути догадок и решить, где оканчивается нить трезвой истины и где начинается вымысел.

Третьего дня, только что воротился в седьмом часу и сел пить чай, гляжу – входит Бодягин... В духе, лицо веселое.

– Здравствуй, – говорит, – Сергей Михайлович. Что ж это ты?... Я думал, дела, с собаками не отыщешь, а он сидит тут дома один! Что не заглянешь? Жена о тебе каждый день спрашивает. Поедем к ней, она тут недалеко, в

опере, и я обещал тебя привезти, если поймаю. Брось чай; после, у нас допьешь. Кстати, у меня до тебя есть дело, пустое; пока одеваешься, я тебе расскажу.

У меня мягкий характер на этого рода вещи. Меня можно взять всегда с нахрапу и увезти куда угодно. Стоит только явиться, как он явился, врасплох, и сказать мне решительно: едем.

– Пожалуй, поедем, – отвечал я, не видя действительно никаких причин, почему бы мне не поехать в оперу.

– Вот что, – продолжал он. – У нас по... железной дороге в понедельник собрание, выборы... Нужен директор, знакомый с движением внешней торговли, и я предложил тебя.

– Меня? – сказал я, до крайности удивленный. – С какой стати *меня!*

– Так... Это мой выбор.

– Да ты разве хозяин?

– Один из сих.

– Но у меня нет акций.

– Так что ж?... Купи. А не хочешь, и так запишем.

– Нет, – отвечал я. – Спасибо.

– Что ж так?

«Timeo Danaos! [23]» – хотел я сказать. Но до таких откровенностей мы не дошли, и я, признаюсь, был в затруднении. Нельзя же сказать человеку в глаза, что я не хочу с ним иметь никакого дела.

– Так, – отвечал я. – Нанюхался уж я ваших компании, довольно с меня.

– Ну, полно чудить! Разве тебе предлагают ехать куда-нибудь в ссылку, поденщиком? Тебе предлагают 5 000 в год просто за то, что ты два раза в неделю подпишешь журнал. Это одно только и обязательно, а остальное все – вздор, не труднее, чем вот теперь прослушать «Дон Жуана». Однако поедем, дорогой успеем договорить.

Я надел фрак, и мы отправились... Дорогою сказано было немного. Он мне заметил, что от таких предложений не отказываются, что это глупо. Я отвечал, что, конечно, глупо, но что я восемь лет кряду вел себя рассудительно и что мне это надоело до тошноты.

– До того, – заключил я, – что мне наконец не терпится сделать какое-нибудь существенное дурачество, чтобы убедиться, что я свобо-

ден, что я человек и не утратил высшего из всех человеческих прав.

– Понятно, – сказал он. – Но в таком случае я бы советовал тебе вот что: выбери, братец, ты дурачество подешевле. Влюбись или женись: это будет почти так же глупо, а между тем 5 000 в кармане.

– Ты полагаешь, что это мне обойдется дешевле?

– Ну это, однако... как возьмешься. Я полагаю, что с некоторым расчетом...

– Черт побери расчет! – перебил я. – Мне опротивел расчет!... Хочу наконец пожить без расчета хоть год: лезть на стену или лежать на боку, все равно, только бы не думать о том, что я делаю, а главное, чтоб было глупо, ужасно глупо!

Смеясь, мы подъехали и вошли... Финал увертюры звучал в коридорах. Она была в бельэтаже с какою-то чопорною и раздушенною старушкой, которой Бодягин представил меня. Это была Мерк, та самая, которая приняла ее к себе в дом ребенком и воспитала. Потом, говорят, у них вышло что-то, какая-то ссора или семейный скандал, вынудивший

старуху сбыть ее на руки первому встречному. У этого встречного Бодягин ее и купил. Но все это было теперь заштопано и имело приличный семейный вид. Бодягина называла ее маман, та говорила Жюли и с мужем ее обходилась как с сыном.

Не прошло и пяти минут, он исчез куда-то, оставив меня одного со своими дамами. Но мне было не до них, сначала по крайней мере: я их не видел, не думал о них. Я был охвачен гением звука и увлечен в мир дивной, чарующей красоты. Это было сперва насильственно. Я окунался в гармонию как в волну и несколько времени жил безотчетно в чем-то чужом, в потоке образов, мыслей и чувств, расплавленных в воздухе, и в форме звука навязанных мне чьею-то могучей рукой. Мало-помалу, однако, то, что казалось сперва насильственным и чужим, нашло отголосок внутри и этим путем закралось в душу. Это минута, вслед за которой сцена с ее актерами и оркестр исчезают для слушающего, исчезают басы и скрипки, и ему чудится, что на сердце его играет кто-то, сердце его поет; сцена внутри, и он видит на ней знакомые лица,

слышит родные, милые голоса. Тогда фантазия его вмещивается, и на тему сердечной музыки импровизирует собственную поэму...

Моя поэма, впрочем, была в связи если не с подлинным содержанием драмы, происшедшей на сцене, то, по крайней мере, с одним из лучших ее мотивов.

Героиня – сестра донны Анны – такая же чистая, любящая, прекрасная, и так же оскорблена. Сердце ее разбито, но руки крепко схватили руку предателя. «Ты не уйдешь!... *Non sperar se non m'uccidi, ch'io ti lascio!*» [24] Только в моей поэме развязка проще. Он понял, что с нею нечего больше делать, и кончил разом.

– Не правда ли, как смешон этот жених, всегда опаздывающий? – шепчет мне кто-то на ухо... Тени исчезли, и я очнулся. Передо мной и слегка наклонясь ко мне сидела живая, полная силы женщина. На ней было бордовое бархатное платье, в волосах крупная нитка жемчуга. Грудь, руки и плечи Юноны. Она сидела так близко, что я мог чувствовать на щеке ее дыхание. С ее лица веяло прямо в мое лицо огнем затаенной страсти. Я что-то

сказал, она отвечала усмешкой и взглядом. Не могу объяснить, что, собственно, было в этой усмешке и в этом взгляде; но я почувствовал вдруг всем существом своим, что эта женщина тянет меня к себе.

Антракт. В ложу вошел какой-то юноша, родственник или питомец «маман», потому что она обратилась к нему с материнской улыбкой. Мы вышли с Бодягиной в коридор, из коридора в фойе.

– Что вы так пасмурны? – спросила она.

Я ей сказал, что опера производит на меня тяжелое впечатление.

– Как странно! А на меня напротив!

Я отвечал, что это совсем не странно. Это как жизнь: для безучастных свидетелей это комедия, а для того, кто всею душою в игре, может быть совершенно напротив.

– Но тут почти сплошь комедия... Все эти люди смешны. Дон Жуан, и жена его, и лакей. А этот несчастный жених! И эта невеста, которая, кажется, так разгневана, а между тем не пускает его от себя! Зачем она не пускает? Это смешно!

– Нет, ужасно! Это фатальная сила минуты,

связавшей ее с человеком, которого она должна ненавидеть и презирать.

– Вы думаете? Мне кажется, что она, напротив, любит его.

– Может быть... Но это еще ужаснее.

– Отчего? – сказала она, очевидно, не понимая. – Он грешник, но очень мил. Разве нельзя любить грешника? Или, может быть, вас надо спросить об этом иначе? Ну, я скажу, пожалуй: грешницу и даже большую, но...

– Привлекательную?

– Ну, разумеется.

Я посмотрел ей в лицо. На нем было что-то невыразимо странное. Она шутила, а между тем под шуткою шевелилось что-то другое, словно она боялась втайне того, с чем она заигрывает.

– Знаете, – говорю, – это вопрос, который гораздо труднее верно поставить, чем верно решить.

На этот раз она мне призналась прямо, что не понимает.

– Я бы желала, чтоб вы объяснили это, – сказала она. – Но я боюсь, что мы не успеем.

– Успеем... это не так хитро, как кажется...

Грехи, согласитесь, трудно любить, особенно некоторые, но грешницу – это другое дело. Вопрос весь в том: насколько эти две вещи связаны – грешница то есть, или, пожалуй, грешник – с своим грехом. Потому что грехи бывают часто случайные и очень нередко вынужденные. Вы понимаете?

– Понимаю.

– Но вы понимаете: если по списку их числится, в одной Испании, тысячи, то это выходит уже серьезно.

– Я думаю! – отвечала она, смеясь.

– К тому же, Дон Жуан не просто развратник; он, кроме того, и убийца.

– Ну, это случай... Его принудили... Впрочем, конечно, он виноват, но и она сделала тоже большую глупость. Зачем она не пускала его?

Кто-то к ней подошел и раскланялся. Сказали по паре слов. Она заметила, что «пора, сию минуту начнут», но не успели мы отойти, как она воротила меня.

– Постойте, поговоримте еще. Вы не сказали мне ничего о вашем собственном впечатлении.

– Что вам сказать, Юлия Николаевна? Это серьезно. Вслушайтесь в некоторые места аккомпанемента, и вы поймете, что тут невесело. Сквозь звуки пира тут слышится адский хохот и скрежет зубов. Да иначе оно и быть не может. Человек, от которого столько любящих, верных сердец ожидало счастья и который на все наплевал, все опозорил, всем дал вместо пищи камень, если еще не хуже, – такой человек, как он ни храбрится снаружи, не может быть в глубине души спокоен и весел. В сердце его – потому что и у него, я полагаю, есть сердце, – в сердце его глухо грызет, что-то шепчет, что он сам для себя устроил ад. И этот ад, покуда еще незримый, уж слышен. На песню, в которой звучат слова любви, он отвечает хохотом ненависти, презрения и проклятия. Она отвернулась.

– Пойдемте, – сказала она, – пора.

В коридоре, у ложи, мы встретили целое общество, которое окружило ее, как царицу. Я не вдруг понял, что это значит и каким образом все это очутилось тут. Оказалось, что это свита Бодягина, сопровождающая его повсюду. Она состояла из разного рода бонтонной

челяди [25] того сорта, что трется около золотых мешков, челяди, знавшей всегда чутьем, где его следует ожидать. Первое, что я услышал, имело весь вид официального бюллетеня о том, куда Павел Иванович исчез и по какому случаю; второе – было известие, что он будет сию минуту и с кем. Мы были уж в ложе и слушали второй акт, когда он вошел, но свита, должно быть, дождалась его за дверьми, потому что я встретил ее потом, почти всю, у него за ужином.

– Ах, Боже мой! Да у вас целый двор! – шепнул я Бодягиной по-французски.

– Да, – отвечала она с самодовольной усмешкой, – это довольно скучно.

Странное впечатление производит эта женщина, особенно когда нервы настроены, как они были настроены у меня в этот вечер. Это не светлое действие красоты, а томительная отравка проклятой страсти, бесовская прелесть, которая кружит голову и тянет в себя как в бездну!

Обед, потом опять опера; после оперы ужин; утренние визиты, вечерние; записки его руки и ее. Зовут, и я прихожу, сам не могу

понять, зачем и как это делается. Мне скверно у них, и я возвращаюсь домой расстроенный, ночи потом не сплю, а между тем не могу отказаться, иду. Что-то слепое тянет меня к ним в дом, и вот уж с неделю, как я у них почти каждый день. Сказал бы, что становлюсь домашним, если бы у них и без меня не было целого легиона других домашних людей, между которыми я совершенно чужой, в кругу которых я плаваю, не сливаясь, сосредоточенный весь в себе, как капля масла в воде. Это какой-то новый и не вполне сформированный мир жизни и деятельности. Конторы, правления, обширная переписка и целые штаты служащих по всем концам России, целые сети связей, интриг, спекуляций, искательств и других отношений, но центра нет или, вернее сказать, есть несколько центров неровной и очень непостоянной силы, вокруг которых все это группируется и кружится. Я, впрочем, стою вне сферы их действия и не чувствую к ним никакой аттракции [26]. Меня тянет в другую сторону. Мне нужно ее. Вопрос: что такое она? – крепко интересуется меня, и я изучаю ее то вблизи, то издали, смотря

по тому, как позволит толпа, ее окружающая. К несчастью, я не могу заняться этим как следует, то есть обдуманно и спокойно. Я изучаю ее на собственный риск и страх как медик, который пробует на себе гашиш или опиум, или как зоолог, который взял в руки змею неизвестной породы. Мне любопытно и страшно, и еще что-то, что может быть хуже всего. Бывают минуты, с глазу на глаз с нею, когда меня охватывает огнем, после чего я чувствую, словно вся кровь у меня отравлена каким-то незримым, но жгучим ядом. Тогда мне становится дурно, и я проклиная ее, готов все бросить, готов бежать от нее без оглядки, как от чумы.

Она неглупа, в обыденном смысле, но у нее нет нравственного понятия. Ей надо доказывать и объяснять по пальцам такие вещи, которые развитой ребенок пятнадцати лет поймет с двух слов. Так, например, по поводу этого разговора в антракте, который у нас возобновился потом раза два, она с трудом поняла, о каком еще аде я говорю, кроме того, в который Дон Жуан проваливается фактически; и хотя она прямо не признавалась, что статуя,

черти и прочее действуют на нее гораздо сильнее музыки, но я догадываюсь, что это так. Когда я сказал ей, что это только орнаменты, а подлинный ад и ужас в душе, она не спорила, но я весьма сомневаюсь, чтобы она это поняла как следует.

– Вы спрашиваете, – сказала она между прочим, – неужели я не в силах представить себе мучений хуже физических? Но что я знаю об этом, и как я могу представить себе что-нибудь хуже того, чего я не испытала? Да и вы тоже. Вы не горели не только в вечном, но и в простом огне. Почему же вы знаете, каково это и есть ли на свете что-нибудь хуже?

Вопрос, впрочем, сам по себе неглуп; но за ним чувствуется что-то непроходимое... Потемки... чаща... Вглядываешься и, не видя пути, припоминаешь с каким-то странным чувством первые строки «Ада» [27]

На склоне юности моей, отягощенный сном,
Путь истинный я потерял и, в поисках напрасных,
Забрел в дремучий лес. О, как скажу, сколь тяжек был

Скитальцу этот лес пустынный и угрюмый...

IV

Недели три я была сама не своя: не ела, не спала, гадала, молилась, ставила свечи перед иконами и часто, по целым часам, сидела над колыбелью моей малютки, в горьких слезах раздумывая о том, что с нею будет, если меня постигнет несчастье. Тень Ольги, с блестящими, страшно расширенными глазами и вздутым лицом, в последний год оставившая меня немного в покое, стала опять моей неразлучной подругой, и никогда она не казалась мне так страшна, никогда я не мучилась так при мысли, что не могу от нее отвязаться. От Поля я мало имела помощи. Он вообще не любил, когда я расстроена или печальна, и требовал, чтобы я всегда являлась к нему с веселым лицом, а до того, что под этим лицом, ему было мало дела. Это всегда огорчало меня, но теперь стало как-то особенно тяжело и обидно. «Что ж, – думала я, – разве я ему не жена и разве у нас теперь не все общее?» Ка-

залось бы, так естественно искать совета и утешения у человека – единственного на свете, которому я могла все открыть и который был опытнее, умнее меня, а между тем я часто не смела к нему приступить, так он стал мрачен, нетерпелив и груб, теперь особенно, когда я, на свою беду, дала ему повод все сваливать на меня.

Черезов что-то не шел, и я уже видела, что это тревожит Поля более, чем он хочет мне показать... Он был всегда так скрытен!

– Поль! – как-то раз сказала я. – Он не идет.

– А, тебе уж не терпится?

Это меня обидело, и я его выругала.

– Ну, поздно уж теперь говорить комплименты!... Мы знаем друг друга... Рада ведь?... Только ты погоди радоваться. Черт его знает, что у него на уме. Может, его и не залучишь теперь сюда.

Опасение это, однако, оказалось преувеличено. Дня через три он был у нас в ложе и после того стал частым гостем. С одной стороны – это казалось успокоительно, но мы не знали его намерений, и Поль имел все причины его опасаться, потому что он отказался от

места, которое было ему предложено. Это случилось в тот самый день, когда Поль привез его в ложу.

– Уж ты, пожалуйста, мне не рассказывай, – говорил он потом, когда мы легли спать. – Уж я его знаю. Мне стоит только на рожу его взглянуть, чтобы сказать наверное, когда он лжет. Восемь, мол, лет жил рассудительно, надоело, хочу хоть с год подурачиться. Ты понимаешь ли, что это значит? Это значит: отваливай, мол, любезный друг, не стоит об этом толковать! Спесь, понимаешь ли, проклятая, старая, барская спесь! Мало была еще в переделке, не выдохлась! У меня, мол, своих 30000; имею право лежать на боку и тыкать тебе в глаза своей незапятнанной чистотою, если еще не хуже чем-нибудь, чего, разумеется, тебе не скажу – ты понимаешь? Но, кроме барства, тут есть еще и другая закваска. Это вот, видишь ли, один из тех книжников, которые, раз ошалев, возмечтали себя богами и с тех пор не могут никак разувериться, не могут понять, что им, как и всем, есть нужно. Они витают в каком-то эфире и все житейское мнится им ниже их высоты. Пока у них

водится что-нибудь в кармане, хоть пять рублей, чтоб выйти на улицу джентльменом, в перчатках и в чистом белье, до тех пор к ним и приступу нет. Фыркает себе под нос, как кот, плюет на все и пальцем ни до чего не дотронется. Все подлость, все для него презренно. А вот как дофыркается до того, что рубаху выстирать не на что и зубы приходится положить на полку, тогда ты и купишь его за грош... Черезов этот как раз из таких, и я тебе должен признаться, просто ума не приложу, что мне с ним делать, кроме того, как хватить разве просто в физиономию, да потом пулю в лоб.

– Нет! – вскрикнула я. – Нет! Ради Бога, не говори о таких вещах!

– А что, тебе жалко его?

– Жалко не жалко, а это тоску наводит. Все думается: неужто не кончено? Неужели мало того, что было?

– А что же делать, если окажется мало?... Кто виноват?

Я разревелась. Он встал и вышел, оставив меня на всю ночь одну, с моею тоской, с моими страхами... Бессонная ночь! Чего только

ты не приводишь с собою? Какие думы не посетят больной головы, когда подушка под нею в огне и она не находит себе до света покою? Я думала; никогда еще, кажется, даже в ту пору, когда эта проклятая мысль зрела в моей голове, не думала я так много, как в эти дни, потому что я никогда еще не была так одинока. Прежде была у меня хоть няня, думала я; она и теперь есть, да на что мне она теперь? Что я могу ей сказать?... Потом был Яснев, потом Поль. Но Поль теперь стал неприступен, и что я ему ни скажу от души, все только злит его. И еще я думала: как тяжело одиночество! Нет никакой опоры, не к чему прислониться и отдохнуть, все надо идти, идти куда-то, как вечный жид, и все нести на своих плечах. К кому я теперь могу обратиться? От кого ожидать участия и совета? И я вспомнила невольно Яснева. «Ах, – думала я, – если б Яснев был, здесь, мне кажется, я бы не утерпела. Была не была, а уж я бы ему рассказала все. Не знаю, что из этого вышло бы; может быть, он оттолкнул бы меня после этого, но за одно я ручаюсь: рн бы меня не выдал. Нет, он был не из тех людей, которые, как бараны, бегут не

оглядываясь, все в одну сторону. У него был свой взгляд на вещи, кроткий и снисходительный, и он любил меня как дитя. Я даже думаю, что он бы меня не оттолкнул, как бы я ни была скверна, хоть вся выпачкана в крови, и тогда не оттолкнул бы. В нем было что-то такое собачье; я разумею, что он был верен и предан мне как собака, без рассуждений и без оценки, так просто...

Какое бы это было счастье, если бы он был тут!... Я бы ему рассказала все... все... и он хотя, конечно, не научил бы меня, что делать, – на этот счет он был плох, – но он бы меня пригрел и утешил».

Все это я вам рассказываю не даром, а для того, чтоб вы знали, в каком состоянии я была около того времени, когда Черезов стал у нас частым гостем. Кажется, я говорила вам, что еще с первой встречи, в Москве, он мне понравился. Он был умен и насмешлив, и это было написано у него на лице. Во взгляде, в лице, во всей фигуре его было что-то особенное, оригинальное. Он мне напоминал один старый портрет какого-то итальянца или испанца, который висел у маман в столовой и

которым няня пугала меня еще ребенком, когда я капризничала. Весь в черном был тот, на портрете, худой такой, с большим острым носом и с умными выразительными глазами; борода клином, точь-в-точь, как у Черезова. Помню, иной раз, под вечер, когда мне нужно бывало пройти одной через эту комнату, с каким безотчетным страхом косилась я на его строгое, сумрачное лицо. Мне казалось, что он смотрит на меня с притаенной усмешкой на тонких губах и что в этой усмешке есть что-то, словно он знает что-нибудь про меня, чего я и сама еще не знаю! Нечто похожее я чувствовала теперь, когда замечала, что Черезов вглядывается в меня. Я чуяла, что он или знает что-нибудь, или догадывается, и мне казалось, что он не даром тут, что у него есть умысел, который он скрывает; одним словом, что это нечто вроде того неизвестного человека, который в драмах является на пиру и говорит загадками. Не удивляйтесь, пожалуйста, если я вам скажу, что это не оттолкнуло меня, а напротив, расположило к нему. Если вас удивляет это, то вы не знаете женского сердца. Власть, и особенно власть таинственная, вну-

шающая невольный страх, имеет для нас неотразимую прелесть. Не могу вам сказать отчего, но это так... Конечно, меня потянуло к нему не вдруг. Сначала он просто меня встревожил. Потом, когда я узнала, что это друг Ольги и что он был у нее немедленно после меня, я страшно струсилась, и бывший услужливый милый мой попутчик вдруг показался мне каким-то «Каменным гостем», предвестником близкой расплаты.

Но вот этот гость обедал у нас и, несмотря на злое объяснение с Полем, после которого я не видала его недели три, несмотря на отказ от места, который тоже не предвещал ничего хорошего, оказался однако не каменным. Приехал к нам в ложу, потом с визитом, потом опять обедал и просидел до вечера, был разговорчив, внимателен, мил, со мною особенно. Это ручалось, что тайные цели его, каковы бы они там ни были, не грозят, по крайней мере, немедленной бедою. Страху поубыло, но зато любопытства прибыло, и я стала думать о нем, он овладел моим воображением до такой степени, что у меня скоро мысли не было в голове, которая бы прямым

или окольным путем не прикоснулась к нему. В его отсутствие я вспоминала, что он делал и говорил; малейший взгляд, малейшее слово, – все для меня имело значение или, вернее, всему я придавала значение, – какое, об этом не спрашивайте, потому что я и сама не знала. Все путалось у меня в голове, все волновало: одну минуту радовало, другую тревожило, огорчало или пугало, чаще всего пугало, но, не несмотря на страх, я не теряла надежды. Я чувствовала каким-то инстинктом, что он не совсем равнодушен ко мне как к женщине, и, разумеется, делала все, что женщина обыкновенно делает в подобном случае, если она однажды решилась во что бы то ни стало достигнуть цели. Но это было трудно. В первое время, когда мне случалось оставаться с Черезовым наедине, я просто не узнавала себя. Вся прежняя смелость исчезла, и я робела, как обвиненная в присутствии инквизитора. Я все ждала, что он напомнит мне прошлое и затем спросит что-нибудь; куда я ехала, например, или удачно ли было мое путешествие? видела ли я, кого мне нужно было увидеть? И затем начнется допрос... Но нико-

гда допроса не было, и это меня удивляло. Я не могла понять причину, заставлявшую его откладывать объяснение, которое почему-то казалось мне неизбежным. Я спрашивала себя: да так ли это? нет ли тут с его стороны какой-нибудь ловушки? Он говорил о посторонних вещах, а мне все казалось, что он подходит издали к тому, что у него на уме и что только и может его интересовать. В малейшем слове его я искала намека; малейший взгляд его, казалось, пронизывал меня насквозь, и я боялась подумать: что я такое в его глазах?... Какая презренная, гадкая тварь! И это меня так мучило, мне так хотелось узнать поскорее худшее, что я чуть не сама шла навстречу ему, заводя разговор о таких предметах, которые представляли удобный случай высказываться. Но он не высказывался, и сколько я ни прислушивалась к его речам, я не могла заметить в них ничего похожего на затаенное чувство вражды или презрения. В своих разговорах с глазу на глаз со мной он говорил открыто, часто даже тепло и искренно, и в тоне его речей, в усмешке, во взгляде сквозила скорее жалость, скрываемая под ви-

дом обыкновенного, вежливого участия, чем что-нибудь другое. Все это невольно влекло, располагало меня к нему, и мало-помалу к страху стала примешиваться надежда, что в самом худшем случае он будет великодушен и не поступит, как поступил бы другой или, пожалуй, как он поступил бы с другою. А из этого вы, конечно, можете заключить, что я надеялась не на одно великодушие!... Что ж делать? Это был чисто женский, невольный расчет, пожалуй, даже и не расчет, а так – какой-то инстинкт. В большой и внезапной опасности всякий невольно и прежде всего употребляет те средства защиты, которыми наделила его природа, так как они вернее, и он владеет ими лучше других. А у меня, кроме природы, были еще и советы Поля; да что я говорю советы? – требования! Он просто сказал мне, что это необходимо.

Насчет успеха я и сама сначала не знала, что думать. То мне казалось, что я Бог знает как далеко зашла, то, что я даже шагу не сделала. В действительности я точно ушла и дальше, чем думала, да только совсем не туда, куда думала. К чему говорить, куда? Вы сами

угадываете. Вы уже поняли, без сомнения, к чему это ведет, когда женщина с таким несчастным темпераментом, как у меня, думает день и ночь о ком-нибудь, кто ей нравится и от кого зависит ее судьба. Малейший толчок, малейшая искра, и человек стал для нее всем, стал ее властелином, идиолом. Так и случилось. Едва я успела заметить нечто похожее на огонь с его стороны, как сама была уже вся в огне. Как это случилось, я не могу объяснить, потому что это пришло внезапно и захватило меня врасплох.

Помню, что перед этим я была страшно утомлена. Я проводила уж третий месяц в каком-то безвыходном напряжении всех сил, нравственных и физических. В голове путаница, на сердце тоска, и ни минуты покоя: то гости, то выезды, то Поль тормозит. Поль, несмотря на то, что я была только послушна ему, сходил с ума от ревности и делал мне иногда такие сцены, что я готова была бежать из дома. Мне нужен был отдых, а отдыха не было, и я не знала даже, с какой стороны его ожидать. Но именно это-то чувство беспомощности и придавало мне ту решимость от-

чаяния, с которой утопающий готов ухватиться за что попало, хотя бы даже за лезвие острой бритвы. В таком состоянии духа я часто ждала появления Черезова с особенным, лихорадочным нетерпением, похожим на то, которое ощущает тяжело больной, ожидающий доктора. Что бы он ни сказал, все кажется лучше, чем неизвестность, а между тем в сердце невольно таится надежда услышать что-нибудь утешительное. И вот нечто похожее на такую надежду шептало мне, что этот Черезов добрый, прямой человек, на слово которого я могу вполне положиться, если он скажет прямо, что знает все, но не ищет моей гибели. «О, – думала я, – какое бы это было счастье и как благодарна была бы я за такое слово! Я бы упала к его ногам и вымолила себе прощение!» И я представляла себе целые сцены: что он сказал бы, что я бы ему отвечала. И сцены эти варьировались в моей голове до бесконечности, но все как-то странно кончалось тем, что я кидалась в его объятия и плакала, скрывая свое лицо у него на груди.

Все это было значительно, но я в ту пору еще не понимала так ясно, как поняла потом,

что это значит. Действительность казалась мне так далека от моих фантазий.

Мы с ним сходились довольно часто и говорили, по-видимому, довольно искренно, но все это как-то кончилось ничем. Только он с каждым разом мне становился милее, и вера моя в него росла.

Раз как-то мы с ним сидели наедине; речь зашла о женитьбе. Я, кажется, спросила: отчего он не женится?

– Знаете, Юлия Николаевна, – сказал он, – прекурьезное дело – эта вербовка в свой полк со стороны семейных людей. Все они это советуют. Следовало бы думать, что если не все, то хоть большая часть очень довольны своею службою. А между тем, согласитесь, что это вздор, и что ваш полк куражится только по той причине, что ему струсить некуда.

– Ну, это нельзя сказать вообще, – отвечала я. – Что же бы делали девушки, если бы все смотрели на это, как вы?

– Покорно благодарю! Вы, значит, хлопчете не обо мне, а о той неизвестной, которой нечего будет делать, если я не последую вашему совету?

– Что ж? – говорю. – Если б и так? Почему не желать ей счастья?

– А вы с чего взяли, что я ее сделаю счастливою? При всем желании она может мне надоесть через полгода, и я ее брошу.

– Нет, вы этого не сделаете.

– Ну, так она сделает.

– Полноте, разве вы бы могли полюбить такую?

– Почему же нет?... Разве любовь дается как пенсия, за заслуги?... Собственно говоря, я даже не знаю, за что она дается, да и вы тоже. Ведь вот же вы говорили, что донна Анна могла полюбить Дон Жуана?

– Да, это правда.

– Ну, я хоть и не донна Анна, а все же не поручусь за себя, потому что любовь зла, и трудно что-нибудь рассчитать, когда голова кружится: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю... и в дуновении чумы...» [28]

– Ах, да! – воскликнула я. – Не правда ли, как это прекрасно сказано?

– Да, сказано хорошо, но согласитесь, что удовольствия этого рода на деле обходятся

слишком дорого, чтобы их можно было серьезно искать... Ну, представьте себе какую-нибудь такую бездну в действительности. Вы увлеклись, как только способен увлечься тот, кто любит от полноты живого, горячего сердца, и отдали ей себя всего, со всем вашим прошлым и будущим, со всеми помыслами и упованиями. Конечно, она все примет, на то она и бездна, но спрашивается, на что ей все это и что она может дать вам взамен, кроме минуты дикого упоения?

Я не совсем поняла, но то, что я поняла, ужасно смутило меня. Сперва я, как дура, обрадовалась чему-то, потом мне стало больно, стыдно и дурно до тошноты.

– Живой человек – не яма, – пробормотала я, совершенно растерянная.

Он посмотрел на меня как-то печально.

– Да, – говорит, – конечно... Но если он не живой? Если в нем сердца нет, или оно уже умерло?

Кто-то вошел, и мы замолчали. Я была вне себя и при первой возможности убежала из комнаты. «Он знает все!» – думала я, но, странно сказать, теперь не это уже меня сму-

щало. Меня смущала мысль, что человек этот – такой милый, славный, мог бы меня любить так, как он говорит, всем существом своим, если бы я не была такая скверная. Но он ошибается, если думает, что мне не нужно этого и что я оставила бы его без ответа... О! Ни за что! Я знаю цену ему, и я не мертвая: у меня есть сердце...

Короче, мне стало ясно, что я люблю Черезова... Открытие это сбilo меня совершенно с толку, и прошло несколько времени прежде, чем я успела прийти в себя, но едва я пришла в себя, как все в голове у меня повернулось вверх дном, и прежде всего мое отношение к мужу. До сих пор я жалела, что между нами нет искренности; теперь поняла, что ее и не может быть. Конечно, он сам был в этом кругом виноват. С тех пор, как он приобрел меня в полную собственность, то обо мне уже больше не беспокоился. Я стала в его глазах не человеком, которому может нравиться или не нравиться что-нибудь, а какой-то тварью, которую он поднял из грязи, вычистил и взял в дом для своей утехы. Со мною не стоило церемониться, а стоило только дать мне понять,

что я совершенно в его руках и обязана ему всем, должна только и думать о том, чтобы ему угодить, должна, одним словом, забыть себя и вся погрузиться в него, смотреть на него, как на бога. Не скажу, чтобы это особенно удивило меня: я знала отчасти, что это будет так, но надеялась, что такое состояние все-таки будет сносно. Если хотите, оно и было сносно, пока у нас интересы были одни. Мы были нужны друг другу и связаны крепко. Зная это и зная его характер, я уступала ему в мелочах, а крупных причин к несогласию у нас не было. Теперь все вдруг изменилось. Страстной любви к нему я уж давно не чувствовала, но с тех пор, как я стала думать о Черезове, к которому он сам меня толкнул как приманку, Поль мне совсем опостылел. Самая ревность его сделалась мне ненавистна, и я на нее смотрела, как на ошейник, который только дразнил меня, напоминая, что я у него в зависимости и что ему не нужно уж более меня ублажать, как ублажал когда-то, чтоб я от него не ушла, а стоит дернуть только покрепче да погрозить. Но он ошибся на этот счет, как вы все, господа, ошибаетесь. Он

думал, что я не прочь кутнуть при удобном случае, но никак не думал, чтоб я могла серьезно сорваться с привязи и взглянуть на все это как-нибудь иначе, чем он сам на него смотрел. А между тем я смотрела уже совсем иначе. В ту пору, когда он думал, что страх быть открытою заставит меня возложить все надежды мои единственно на него и вверить себя, зажмурив глаза, его руководству, страх этот перестал уже быть моим главным двигателем, и я потеряла всякую веру в его руководство. Все, что у меня оставалось похожего на надежду, каким-то странным путем перенесено было на Черезова. Я говорю – странным путем, потому что и сама не знала, чего должна ожидать от Черезова и почему. Он не делал ни шагу, чтоб разъяснить мне этот вопрос, а между тем я не имела уже почти никакого сомнения, что тайна моя ему известна. И я любила его; мне казалось, что и он не совсем равнодушен ко мне; одним словом – это была такая путаница, такие потемки, из которых не терпелось выйти во что бы то ни стало. Но как? За недостатком лучшего оставалось только одно: самой идти навстречу ему

и требовать объяснения.

Долго я колебалась и выжидала, в надежде, что случай придет мне на помощь, но случай не приходил. Тогда я потеряла терпение и раз как-то, запросто, назначила ему свидание у себя.

V

Я был у нее недавно утром, но едва мы успели начать разговор, как вошел слуга с докладом, что гости приехали... Она вся вспыхнула от досады.

– Это несносно! – сказала она, обращаясь ко мне. – Мне не дают вас и на пять минут! Мне мало этого. Месье Черезов! Хотите вы сделать мне удовольствие? Слушайте: завтра Павел Иванович в собрании, и я буду одна весь вечер. Если вы не боитесь соскучиться, то приходите. После обеда, в 8-м часу, или нет, – лучше в 8. В восемь я буду наверно одна.

Я был, и мы просидели вдвоем часа три. Не помню, с чего у нас началось, только она казалась расстроенною и жаловалась, что нездоровится. Я спросил, что с ней?

– Так, ничего, – она закрыла руками лицо и сидела с минуту молча. – Скажите, вам это должно казаться странно?

– Что странно, Юлия Николаевна?

– Да то, что я завладела вами, и что мы так... одни... Но, – заключила она с какой-то странной усмешкой, – это, если не ошибаюсь, уже не в первый раз.

– Да, кажется, – я отвечал, смеясь. – Хотите сигарку? (Она не курила при мне до сих пор).

– Дайте.

Мы закурили; рука у нее слегка дрожала.

– Послушайте, – продолжала она, – вы так скромны и так деликатны, что я наконец не вижу, к чему играть с вами в прятки. Это ребячество. Дайте мне вашу руку и верьте, что я умею ценить ваше молчание. Скажите: неужели вы серьезно думали, что я вас не узнала?

Я отвечал, что не знал: желает ли она меня узнавать.

– Ну, насчет этого я и сама не знала. Встреча тогда была так коротка, что я не могла быть уверена в вас, как теперь уверена. Я могла думать... вы понимаете, я в ту пору была

совсем в других обстоятельствах и не дорожила всем тем, чем теперь должна дорожить. Почему я знала, за кого вы меня в ту пору приняли и как вы вследствие этого обойдетесь со мной? И я, признаюсь, немножко струхнула, когда узнала вас. Но потом я сама поняла, что это было глупо... Ужасно глупо! Не правда ли?

Я не знал, что сказать.

– Надеюсь, – отвечал я, смеясь, – что я вам не дал причины меня опасаться?

– О! Нет... Напротив. Вы больше чем деликатны; вы человек справедливый и честный, такой человек, одним словом, который, если он думает дурно о женщине, то может сказать или не сказать ей это в глаза, но никогда не обидит ее за глаза и не осудит без положительных, ясных причин. Не правда ли?

– Да, – говорю, – конечно; только я вас прошу, будьте уж искренни до конца и скажите мне прямо: что вас заставляет предполагать, что я могу о вас думать дурно?

– Ах! – отвечала она вздохнув. – Очень и очень многое. Главное то, что обо мне многие думают дурно. Вы знаете, я в разводе или была в разводе, а это одно уж бросает тень. За-

тем, мое прошлое, конечно, небезупречно. Виной тому отчасти несчастный брак, отчасти, может быть, и слишком живой темперамент. Меня почти ребенком выдали замуж за человека, которого я ненавидела. Когда-нибудь я расскажу вам это подробно; только я вас прошу заранее, не будьте ко мне слишком строги.

– Полноте, Юлия Николаевна, вы шутите!... С чего вы взяли, что я могу когда-нибудь осуждать женщину за ту мизерную долю свободы, которую она вырывает из рук своих тюремщиков? Скажите мне лучше какую-нибудь другую причину, если другая есть.

– Есть, – отвечала она, подумав. – И вы, как родственник Поля по первой жене, должны ее сами знать. Его обвиняли косвенно или прямо в смерти этой несчастной. Доля подобного обвинения, как ни нелепо оно, должна была неизбежно упасть и на меня. Вы понимаете?

– Понимаю, но вы же ведь говорите, что это нелепо?

– В моих глазах – да. Но люди, видите ли, не церемонятся с заключениями: вторая жена, – ну, стало быть, ясно, она и виновата.

В ответ на это я напомнил ее высокое мнение обо мне.

– Вы, – говорю, – сейчас сказали, что не считаете меня за человека, способного осудить кого-нибудь без положительных ясных причин.

Молчание. Я смотрел на нее, не спуская глаз, а она смотрела на край своей юбки, кусала тихонько губы и морщила лоб, что сообщало ей несколько озадаченный и даже сконфуженный вид. Но это было естественно при таком объяснении.

– Положим, что, впрочем, недалеко от истины, – продолжал я, – что я не могу оправдать Павла Ивановича. Но почему вы думаете, что я переношу на вас долю его вины?

Она молчала в волнении.

– Не знаю, – сказала она, подумав. – Но мне иногда невольно приходит на мысль, что вы со мною не откровенны, что вы таите что-то на душе. И если б вы знали, как мне это больно! Если бы вы знали!... – повторила она дрожащим голосом и вдруг, обернувшись ко мне, схватила меня горячо за обе руки. – Сергей Михайлович! Это нехорошо! За что?... Не

мучьте, скажите! Скажите мне прямо, если вы что-нибудь против меня имели, или имеете! Я хочу знать... Мне нужно... Мне дорого ваше доброе мнение, но мне еще дороже правда... Правду скажите мне! Правду!...

Тронутый этой выходкой, я вынужден был сказать ей что-нибудь соответствующее, но это был вздор, который она и сама, вероятно, сочла за вздор, потому что не слушала меня. Лицо у нее было расстроено, на ресницах – слезы. Не выпуская моих рук из своих, она откинулась назад и что-то шептала. Я не успел расслышать; внимание мое было привлечено каким-то запахом, сначала слабым, потом вдруг быстро усилившимся. Это был запах дыма.

– Что-то горит! – сказал я, осматриваясь. Она очнулась.

– Что? Где?

– Это ваша сигара... Вот она, на ковре... Ах, Боже мой! Платье!

– Где? Где?...

– А вот – смотрите!

Край юбки ее в самом деле тлел, и узкая огненная бордюрка внизу росла, дымясь и за-

кручиваясь... В испуге она хотела вскочить, но я схватил ее крепко за руки:

– Куда?... Сидите смирно! Иначе вы будете сию минуту в огне!

С трудом усадив ее, я кинулся на ковер, к ее ногам, и скомкал тлеющий край в руках. К счастью, нигде еще не успело вспыхнуть. Дым скоро исчез, но мне стало невмочь.

– Смотрите, – сказал я, бросив, – не тлеет ли где-нибудь? Она наклонилась; я тер обоженные руки. Лицо ее было так близко от моего, что волосы наши касались.

– Нет, ничего... потухло, но руки, руки ваши обожжены!

Станный тон голоса, которым сказаны были эти слова, заставлял меня посмотреть ей в глаза. Они полны были страсти, и два зрачка их, прямо против моих, светились каким-то янтарным огнем. В голове у меня пошло колесом, и мне стало вдруг страшно – не страшно, а как-то жутко. Я чувствовал, что она сию минуту будет в моих объятиях. Не успел я мигнуть, как руки ее обвились вокруг моей шеи и губы огненным поцелуем прильнули к моим губам.

Когда я пришел в себя, ее уже не было. Она убежала, и я сидел с четверть часа один, напрасно пытаюсь сообразить, как это все случилось.

В комнату кто-то вошел. Это была ее горничная, которая напомнила, что у меня руки в саже. Я вымыл их и опять остался один.

Наконец она воротилась, спокойная. На ней было другое платье и, я прибавлю, другое лицо, будничное, потухшее, которое было мне хорошо знакомо.

Ни слова о прошедшем.

– Пойдемте в гостиную, здесь пахнет дымом.

Мы перешли в гостиную. Она отворила рояль, села и стала играть. Но ее игра была рассеянна, и лицо часто обращено ко мне с коротким ответом или вопросом.

– Я редко теперь курю... Отвыкла. И Павел Иванович не любит... У вас, однако, теперь другие сигары. Я помню те. Я выкурила всю вашу пачку в деревне, на Волге.

– Вы были на Волге?

– Да; с неделю. Сейчас после того, как я уехала из Москвы.

– У кого?

– У одного приятеля... Озарьева. Село Любуты; это на берегу, недалеко от Твери. А вы?

Я отвечал, что ездил в Р**, к кузине.

– Вы очень любили вашу кузину?

– Да, она была мой дорогой, мой лучший друг.

– Когда вы узнали о смерти ее, вы были очень огорчены? Я отвечал, что чуть с ума не сошел и долго был болен.

– Вы думали, что она была отравлена?

– Да, и думаю до сих пор.

– Почему?

Враждебное чувство зашевелилось во мне при этом допросе. '«А?... – думал я. – Тебе это нужно знать? Смотри, не обожгись». Я отвечал, что мне известны вещи, которые не оставляют места сомнению.

– Что же вам известно?

– Все.

Что-то сорвалось на клавишах, звуки игры стали тише, умолкли, и она обернулась ко мне совсем. Лицо ее было бледно и холодно, словно застывшее, но черты выражали решимость.

– Это неправда.

– Почему вы знаете?

– Тут нечего знать. Это ясно. Если б вы знали все, вы не держали бы этого в тайне. Я, по крайней мере, понять не могу. Как можно, зная такие вещи, молчать? Если она была отравлена, и если она была, как вы говорите, ваш лучший друг...

– Так что же?

– И если вы знаете, кто это сделал?

– Знаю.

– Чего же вы дожидаетесь? Почему не отомстите за ее смерть?

Вопрос был прост, но он затруднил меня в высшей степени, потому что коснулся как раз самого слабого места моей импровизации.

– Почему вы думаете, что я желаю мстить? – сказал я уклончиво.

Эффект вышел совсем неожиданный.

– Как, почему я думаю? – отвечала она, широко открывая глаза. – Я... ничего не думаю. Я... так... спросила. – Лицо ее вдруг оттаяло, решимость исчезла; она сидела сконфуженная и изумленная.

– Я не палач, – продолжал я, – и не чув-

ствую никакой охоты быть палачом.

– Простите, – шептала она, краснея. – Я вижу, что сказала глупость. Выходит, что я еще мало знаю вас и мало умею ценить. Но вы отчасти сами в том виноваты. Зачем, скажите, зачем вы не хотите быть со мной искренним? Или я не заслуживаю доверия? Скажите мне, наконец, хоть это, чтобы я уже знала, что я такое в ваших глазах.

– Послушайте, – отвечал я, – это несправедливо. Вы не можете обвинять меня в неискренности на том основании, что я вам сказал не все. Есть случаи, когда слово равняется делу, и в таких случаях тайна бывает часто фатальной необходимостью. Но я все-таки вам сказал гораздо более, чем кому-нибудь. А вы? Юлия Николаевна! Решите сами, по совети, руку на сердце: кто из нас двух в долгу по части искренности?

Мы замолчали. Она сидела не шевелясь, с каким-то бесцельным, растерянным взором.

– Не знаю, – сказала она минуту спустя. – Но мне что-то сдается, что я вам сказала сегодня больше, чем должна и чем желала сказать, и уж наверно больше, чем вы заслужи-

ваете.

Я вспомнил ее поцелуй, и мне стало немножко совестно. «Действительно, – думал я, – она права; по этому счету я перед ней кругом в долгу...» Не зная, как ей дать знать, что я это чувствую, я взял ее руку и молча поцеловал. Лицо ее прояснилось.

– Ах, да, – сказала она, – покажите руки. Вы очень их обожгли? Бедняжка! Это моя вина. Я совсем разучилась курить. А прежде, помните?... И как это весело было тогда: эта цыганщина, эта свобода! Помните наш разговор?

– Помню, от слова до слова.

– О! В самом деле?... Ну, в таком случае, вы заслуживаете, чтобы я вам сказала. Знаете, я о вас часто потом вспоминала, и... ха! ха! ха! ха! Ну, нет, это уж слишком! И этого я вам ни за что не скажу!

– Как вы испортились!

– В чем?

– Вы были тогда откровеннее.

– Ну, едва ли.

– Однако. Тогда вы мне храбро сказали все, что думали, а теперь трусите.

– О! Это вздор!

– Что вздор!

– То, что я вам хотела сказать.

– Эх, Юлия Николаевна! Знаете, иной вздор дороже серьезных вещей.

– Да, кстати, – сказала она с таким видом, как будто вдруг что-то вспомнила, – а ведь я после жалела.

– О чем?

– Угадайте.

– Попробую, но не берусь попасть прямо в цель, а так, около. Вы жалели о чем-нибудь, чего нельзя было воротить?

– Да, около.

– Ну, а теперь?

– Что теперь?

– Теперь разве нельзя воротить?

– Нет, – отвечала она с грустной усмешкой.

– Почему же нет?

– Так, я стала теперь гораздо требовательнее; стала совсем другая.

– Вот видите, я вам правду сказал, что вы испортились.

– Ах, нет! Но я требую теперь совершенно другого.

– Большого?

– Несравненно большего!

– Что вы имеете?

– Нет. Знаете, это избитая истина, мы все недовольны тем, что имеем, и все ищем лучшего.

Она шалила, вертя перед моими глазами обольстительную приманку, а я ловил ее, как котенок ловит перо на нитке. Это была игра и довольно глупая...

Я ушел от нее в чаду и долго не мог дать себе отчет, что это такое было. Я чувствовал только, что дело вдруг приняло очень крутой оборот и стало серьезно. Я чуть не сказал ей в глаза, что она убийца, она едва не призналась. По крайней мере что-то шептало мне, что мы оба были недалеко от этого. Не струсь я в решительную минуту, потребуй прямо ее признания, легко может быть, что правда сорвалась бы у нее с языка.

Всю ночь я думал о том, что сделаю, если, как это весьма вероятно, я наконец услышу от нее признание? Завязать дело нетрудно, и я ничем, не рискую при этом. Только вот что: теперь, мне кажется, это уже немножко позд-

но. Тут пахнет уже предательством! Если я ее подведу под суд, то она погибла без всякой надежды на искупление, погибла кругом, как женщина и как мать, а кто в барышах?... Кому это нужно? Мне, что ли? Но, по моим понятиям, справедливость не будет нисколько умиротворена тем, что Юлия Николаевна сгниет на каторге. Конечно, общество вправе себя защищать как может и как умеет; ну и пусть защищается, я ему не мешаю. Но мне-то какое до этого дело? Разве я представитель общества для Юлии Николаевны? Я не судебный следователь, не сыщик и не палач. Я для нее просто Черезов, и как Черезов буду просто убийца, если я это сделаю.

Значит, не сделаю. А если не сделаю, то на что мне ее признание и чего я от нее хочу? Выкупа, что ли?... Увы! Кажется, дело идет к тому, и, кажется, я уже получил задаток. К чему ж я пугаю ее, прикидываясь неумолимым и неподкупным? Вместо того, чтоб хвастать и лгать как лавочник, который лезет из кожи, чтобы ему накинули грош на его гнилой товар, не проще ли было бы сказать ей прямо в глаза, что она убийца, но может быть спокой-

на; что я не выдам ее, если она заплатит мне то, что я требую? Да, это было бы коротко и просто, и было бы прямодушнее, даже, пожалуй, честнее, чем, наигравшись с нею как кошка с мышью, лизать потом ее руки, те руки, которые уложили в гроб Олю! Но нет! Нужно, вот видите ли, и черту кочергу, и Богу свечку! Нужно наесться грязи так, чтобы губы себе не выпачкать и чтобы это с лица вышло даже красиво, а для этого надо роман себе сочинить. Надо уверить себя, что любовь смягчила сердце убийцы, и что она раскаялась, и что мне жалко ее, просто по-человечески жалко.

Мысли эти терзали меня всю ночь, и поутру я проснулся с ними, нии, в каком только может чувствовать себя человек, не совсем еще потерявший совесть.

VI

Свидание это было странное. Я уронила Согонь на платье и чуть не сгорела в буквальном смысле; он пережег себе руки, но получил зато поцелуй. И я чуть не призналась ему в любви; и он сказал мне, что все знает, но не намерен мстить. И мы едва не сошлись с ним на мировую... а между тем ничего, собственно, не было сказано, и все это промелькнуло передо мною, как клад во сне, после которого просыпаешься поутру с пустыми руками, дивясь и жалея.

Я начала с того, что храбро напомнила ему нашу встречу, и при этом призналась, что струсилa, когда узнала его у Горбичевых. «Я, – говорю, – не знала, какого вы мнения обо мне, и как вы со мной обойдетесь, но вы вели себя так деликатно, что я теперь составила о вас очень высокое мнение». И я намекнула ему слегка, в чем состоит это высокое мнение, то есть, что он такой честный, хороший, прямой человек, который если и думает что, то скажет это скорее в глаза, а за глаза не очернит. Он не отнекивался, но вместо того, чтоб ска-

зять с своей стороны что-нибудь положительное, возвращал мне только мои же вопросы...

С чего я взяла, что он обо мне дурного мнения? – Я объяснила ему истинную причину так откровенно, как только могла, сказав, что многие обвиняли Поля в смерти первой его жены и что, как водится, доля подобного обвинения упала и на меня. Люди легки на осуждения, объяснила я: вторая жена, ну, значит, и виновата. Он стал отнекиваться, делая вид, что не понимает, с какой стати я отношу это к нему... А сам между тем так и смотрел в глаза.

Это была такая пытка, что я чуть не плакала... Сигара моя упала на платье, но я не заметила. «На что он мучит меня? – думала я. – Зачем не хочет сказать мне правду, когда видит ясно, что я сама на это иду?... Или он думает, что я уж такая тварь, с которой нельзя и объясниться по-человечески?» Не помню, как именно это случилось, только я, наконец, вытерпела и сказала ему в глаза, что это нехорошо, что он не искренен со мною; что он таит на душе что-нибудь, чего не хочет сказать, и что мне это больно, ужасно больно! После то-

го я взяла его за руки и стала уж прямо умолять, чтобы он не мучил меня, а если имел или имеет что-нибудь против меня, то лучше сказал бы мне просто.

Не знаю, чем бы это окончилось, если бы тут не вмешался случай. В комнате вдруг запахло дымом. Мы стали осматриваться и увидели, что платье мое горит. Я страшно перепугалась: он кинулся на колени к моим ногам и начал тушить. Когда я увидела, что руки его обожжены, не знаю уж, что со мною и сделалось. Я упала к нему на шею, потом вырвалась и, горя от стыда, убежала.

Оставшись одна, я просто была в отчаянии. Более часу прошло, как мы с ним сидели вдвоем, и Поль мог скоро вернуться, а я еще ничего не узнала. Потухшие юбки валялись в моих ногах, но я сама была еще вся в огне и жадно глотала холодную воду: один, два, три стакана. Наконец это прошло; я оделась и вышла к нему спокойная. Не знаю, это ли было причиной, или он сам надумался, только на этот раз дело пошло удачнее. Я решилась идти прямо к цели и завела речь об Ольге. Это его раздражало, и он отвечал мне резко. Сло-

во за слово: «Была отравлена». – «Не была». – «Была, мне это известно». – «Что вам известно?» – «Все».

Сердце у меня обмерло. Однако я справилась и, подумав, отвечала ему, что это неправда, потому что если бы он знал, он бы не стал молчать.

Он посмотрел как-то странно, словно его удивил мой вопрос, и отвечал очень просто, что он не желает мстить. Это меня так поразило, что я совсем растерялась и чуть не выдала себя. Не припомню теперь, как именно это было; помню только, что после первых слов я стала опять его укорять, зачем он не хочет сказать прямо всю правду. Он отвечал, что не может сказать всего и что я не вправе его укорять за это, потому что я и сама с ним не искренна.

Тогда, признаюсь, я струсилась и, не решаясь идти до конца, свернула в сторону.

– Не знаю, – сказала я, намекая на поцелуй, – кто из нас двух в долгу по части искренности, но, кажется, я вам и так сказала уже сегодня больше, чем следует.

Он понял и вместо ответа поцеловал мне

руку. «Чего же еще?» – думала я, чувствуя, что у меня от сердца совсем отлегло. И пробуя осторожно почву, на которой мелькнула мне эта надежда, я стала манить его за собой куда-то... Увы! Я и сама не знала еще, куда!

VII

О пять он со своими услугами! Навязывает паи. Вчера пилил целый час, а я отшучивался: но, наконец, это протерлось и стало сквозить. Ребенок понял бы, что ему предлагают даром. Я так ему и сказал.

– Я, – говорю, – не так глуп, чтобы уж вовсе тут ничего не смыслить; я вижу и сам, что не рискую ничем.

– Так что ж? – говорит. – За чем дело стало?

– Затем, что я не хочу брать даром чужие деньги.

– Чьи ж это чужие?

– Это мне все равно: чьи бы ни было.

– Кончите, господа! – сказала Юлия Николаевна. – Терпеть не могу, когда вы затеваете ваш деловой разговор!

– Постой, сию минуту. А в карты выиграешь – возьмешь?

– В картах есть риск.

Бодягин пожал плечами и сквозь натянутую усмешку его мелькнуло что-то озлобленное.

– Ну, брат, – сказал он, – я уж не знаю, как тебя и понять. То «не хочу, потому что рискованно», то «потому, что риску нет». Ты просто виляешь!

– Нет, Павел Иванович, это напраслина... Я тебе говорю, что мне эта игра противна во всяком виде: с риском, потому что я не желаю, чтобы меня обыгрывали, без риска, наверняка, потому, что я не шулер.

– Что же, мы все, по-твоему, шулера?

– Не знаю. Если, как следует полагать, вы чем-нибудь поплачиваетесь за то, что кладете себе в карман, то, разумеется, нет. Но мне платить нечем, потому что я в ваших делах ни при чем; а даром я не хочу ни гроша.

– Принцип, значит?

– Ну, да, как хочешь толкуй; я о кличках не спорю.

– А если не споришь, так я же тебе скажу, что это такое. Это, брат, спесь. Не хочешь принять от приятеля доброй услуги.

– Ну, пусть будет спесь.

– Тебе, значит, все равно, как я это пойму?

– Нет, я желаю, чтобы ты понял меня как следует, а там величай, как хочешь, это мне все равно.

– Сергей Михайлович! Любезный друг! Это не по-приятельски!

– Да, это очень нехорошо, – подтвердила Бодягина.

– Ну, вот, и вы туда же, Юлия Николаевна! А я надеялся, что вы за меня заступитесь. Полно, брат Павел Иванович! Мы с тобою уже не юноши и не в Аркадии [29] родились. Мы знаем, что по-приятельски! Не по-приятельски навязывать человеку благодеяния, о которых он не просил и которых он положительно не желает.

– Я не навязываю... Мне любопытно только узнать истинную причину отказа. Разве ты имеешь что-нибудь против меня? Зол на меня за что-нибудь?

– Поль! Что это ты?

– Оставь, пожалуйста! Я знаю, что говорю.

– Нет, Павел Иваныч, не знаешь, – отвечал я. – Это пустые речи на ветер, без всякого по-

вода, и если мы раз начнем в таком тоне, то никогда не кончим.

Бодягин хотел что-то сказать, но, взглянув на встревоженное лицо жены, одумался, встал и вышел.

Она сидела с минуту, прислушиваясь, потом обернулась быстро ко мне.

– Ах! Ради Бога! – сказала она, всплеснув руками. – Зачем вы его выводите из себя? Зачем не хотите сделать ему в угоду такой безделицы? Вы видите, как это его огорчает!

– Не могу, Юлия Николаевна, и вы ошибаетесь, называя это безделицей. Это совсем не безделица – это подкуп.

– Как подкуп? Что это значит?

– Так, у нас с ним есть старые счета.

– Ах, Боже мой! Вы меня пугаете!

– А вы разве не знали?

Бодягина вздрогнула и уставила на меня встревоженные глаза.

– Успокойтесь, – сказал я. – С моей стороны вам нечего опасаться. Я вам сказал уже это раз, и теперь повторяю еще, что вам нет надобности меня подкупать.

Руки ее опустились; оторопелый, растерянный

ный взгляд блуждал без цели.

– Что с вами? – сказал я, испуганный мертвым цветом ее лица.

– Вам дурно?

Она не отвечала. Я налил воды и подал ей. Зубы ее стучали о край стакана.

Прошло с минуту. Вдруг она сунула мне назад стакан.

– Идет, – шепнула она, прислушиваясь. – О! Бога ради, ни слова при нем.

Это меня удивило, но я не успел спросить объяснения. Бодягин вошел.

VIII

Несколько дней после того я убаюкивала себя надеждой, что Черезов не потребует от меня прямого признания. «На что оно? – думала я. – На что, вообще, формальное объяснение между людьми, которые понимают друг друга? Давеча, когда я упрекнула его в неискренности, он сам сказал, что в жизни часто бывают такие случаи, когда невозможно сказать всего. А я прибавлю: бывают такие сделки и отношения, о которых из скромности лучше молчать. Что ж делать? Он рыцарь,

но ведь и рыцари иногда не прочь от сладкой награды».

Так думала я, как вдруг он пришел и тремя словами рассыпал все это в прах. Он просто сказал мне: вам нет надобности меня подкупать. Это случилось после горячего объяснения с Полем, который сманивал его в долину по нашей новой дороге. Поль был взбешен его отказом и, чтобы скрыть это, вышел из комнаты. Мы на минуту остались одни. Тогда и сказаны были эти слова. Они были очень обидны. Он, не задумываясь, поставил все сердечное, что видел с моей стороны, на одну доску с паями, которые Поль ему предлагал, и назвал все это одним словом: подкуп! Мало того, он бросил мне прямо в глаза, что до сих пор было маскировано, то есть, что я открыта. Это ужасно меня испугало, и с испугу весь мой расчет, вся вера в него пошатнулась. Почему я знала, если уже на то пошло, не лжет ли он, утверждая, что не намерен мстить? Может быть, это уловка, чтобы вымолить у меня признание? Может быть, все это входит в план его действий и каждый шаг его, каждое слово рассчитаны? А я?... Но я была так пере-

пугана, что у меня в глазах помутилось, и я едва не упала к его ногам без чувств.

Он дал мне воды. К несчастью, прежде, чем я успела оправиться, Поль вошел.

– Что с тобою? – спросил он, взглянув сперва на Черезова, потом на меня.

– Ничего, – отвечала я. – Так, голова кружится.

– Хм, кружится!... Смотри, чтоб совсем не вскружилась.

Это было, что называется, из огня да в полымя. Я знала уже, чего ожидать, и молила Бога только, чтобы Черезов поскорее ушел. Должно быть он угадал это, потому что в ту же минуту встал и взялся за шляпу.

В дверях Поль сказал ему:

– Так ты отказываешься? Он отвечал, не оборачиваясь:

– Отказываюсь.

Поль воротился с ужасным лицом и прямо ко мне.

– Что у вас тут случилось?

– У нас?... Ничего.

– Как ничего? На тебе лица не было! Говори правду: вы объяснились?

– Нет.

– А?... Отпираешься?... Да что, ты стакнулась [30], что ли, с ним? И пошла пытка, долгая, отвратительная. Ни ложь, ни правда

не помогали. Он ничему не верил. В голове у него засела мысль, что я его продала, что я любовница Черезова и что мы в заговоре. Кто его знает, может быть, думал уже, что мы затеваем его извести. Он топал ногами, ругался, кричал, грозил убить меня, если я сию минуту не признаюсь во всем, и раза два я, правда, думала, что он это исполнит. В слезах, и не зная, как его успокоить, я, наконец, сказала, что если так, то не хочу и видеть этого человека.

– Я не искала его, – говорю, – ты сам мне его навязал и мне надоело это до смерти. Верь или не верь, как знаешь, это мне все равно, но мне не все равно и я не хочу, чтобы из-за него у нас был ад в доме! Избавь меня от него совсем, чтобы мне не видеть его, чтобы духу его тут не было!

Выходка эта произвела странное впечатление. Его словно стукнуло что-то. Буря упала вдруг. В лице появились забота, недоумение,

страх. Он сел и долго сидел, взявшись руками за волосы, как человек, близкий к отчаянию.

– Темно! – ворчал он. – Темно!... Ни зги не видать!... Проклятое, безвыходное сплетение...

– Что это значит? – спросила я, смотря на него с удивлением.

Он словно проснулся.

– То значит, что я тебе не верю; ну, да и ты мне тоже. Нечего, значит, много и говорить... Ну, а насчет того, прочего, ты мне не рассказывай пустяков. Так нельзя. Ты слышала: вон он, каналья, прямо в глаза уже говорит, что не хочет со мною иметь никакого дела! Нельзя, слышишь ли ты? Его нельзя выгнать! А что до того, что надоело, так это еще невелика беда. Сама виновата, сама и терпи... Ну, одним словом, ты понимаешь, я не хочу, чтобы ты с ним совсем разрывала.

– Не хочешь? – воскликнула я. – Да ты знаешь ли, чего хочешь? Ты что мне сейчас говорил? Ты за горло меня хватаешь из-за пустых подозрений, а когда я тебя прошу избавить меня от него совсем, потому что мне это не радость, а мука, ты отвечаешь: терпи! Так нет

же, я не хочу терпеть!

– Не хочешь? – воскликнул он бешено.

– Нет! Я и так довольно уже натерпелась из-за тебя. Пстой! Дай мне сказать. Да не лезь с кулаками, а не то я людей позову; я закричу на всю улицу, что мы с тобой вместе ее отравили! Стой! Стой! Дай мне сказать тебе правду. Ты мастер толкать других туда, где жарко и где можно руки себе обжечь, да потом их же и попрекать, зачем не умели сделать по-твоему. А ты зачем прячешься, если умеешь лучше? Ты сам попробуй; легко ли то, чему ты учишь других? Ты впутал меня в это проклятое дело; без тебя оно мне и на ум не пришло бы, а вот теперь я у тебя во всем виновата! Зачем я встретила его по пути? А ты зачем отправил туда меня? Зачем не поехал сам? Так и теперь: сам трусишь, меня толкаешь вперед, толкаешь свою жену чужому на шею, а после прохожу ей не даешь! Какую жизнь ты мне сделал за это время? Каких насмешек, попреков, брани я от тебя не слышала? И все за что? За то, что я поступила по-твоему! Возись с ним, как знаешь, сам, и делай что хочешь. Я больше тебе не помощни-

ца.

Что-то зловещее, хорошо знакомое, промелькнуло на бледном его лице.

– Смотри, полно так ли?

– Так.

– Эй, Юшка! Я тебе говорю, смотри, не перехитри! Тонко уж больно; на волоске висит. Сорвется, все к черту пойдет, и он первый. Поэтому, если уже пропадать, то я и его не выпущу. Я ему первому шею сверну.

Сказав это, он повернулся и вышел.

Ужас напал на меня при мысли, что уже не первый раз я слышу эту угрозу. Я не спала всю ночь и не могла придумать, что делать. Одно было ясно: надо предупредить Черезова, во что бы то ни стало и не теряя времени. Но как? Писать ему? Звать к себе? Безумство!

Утром, часу в двенадцатом, Поль уехал. Недолго думая, я оделась и вышла из дому одна. Адрес был мне знаком. Я села на первого попавшегося извозчика и в пять минут была у его дверей.

IX

Это было поутру, в первом часу. Сижу, входит Иван.

– К вам дама.

– Проси.

Смотрю, отворяются двери, и входит женщина в черном, лицо под вуалью. Меня так и бросило в холод. Я вспомнил старый, не раз повторявшийся сон. Но вот она открыла лицо, и я увидел Бодягину.

– Вы? – сказал я в неописанном удивлении.

– Как видите.

Она была страшно бледна и имела расстроенный вид. Я усадил ее.

– Что с вами? Отчего у вас такое усталое, измученное лицо?

– Немудрено, – говорит. – С тех пор, как мы расстались, я не сомкнула глаз. Если бы вы знали, что происходило вчера после того, как вы ушли! Муж догадался, что у нас было что-то, и сделал мне страшную сцену. Он раздражен. Подозревает меня и вас. Грозит. О! Ради Бога, поберегитесь! Я только за тем и пришла, чтоб вас остеречь. Я ночь не спала от страха

за вас. Боюсь, чтобы не случилось чего-нибудь.

Я спросил, что же, по ее мнению, может случиться.

– Не знаю, – отвечала она, дрожа и закрывая руками лицо. – Он бешеный человек, и когда в таком состоянии, от него можно всего ожидать... всего!

– Что ж вы его не успокоите? Объясните ему, что он напрасно хлопочет.

– Ах, Боже мой! Как это сделать? Я пробовала вчера. Я с ним из сил выбилась. Он ничему не верит, думает, что я с вами в заговоре. Думает... я уж боюсь и угадывать, что он думает.

– Вы желаете, чтобы я прекратил мои посещения?

– Нет... Я не знаю. Боюсь, чтобы это хуже его не встревожило.

– Что же мне делать?

– Лучше всего, если бы вы приняли его предложения, если это теперь не поздно.

– Нет, – отвечал я. – Об этом и думать нечего.

– Почему?

– Я вам объяснил уже, почему.

– Ах, да! – спохватилась она. – Скажите, за что вы меня обидели!

– Я не имел намерения вас обижать.

– Однако обидели! В чем бы я ни была виновата, только не в том, чем вы вчера меня попрекнули. Если я вам советовала принять услуги Поля, то сделала это вовсе не с целью вас подкупить. Я просто боялась ссоры. Но вы не это одно назвали подкупом.

– Что вы хотите сказать?

– То, что я вам хочу сказать, – отвечала она, – трудно сказывается: вы судите обо мне хуже, чем я заслуживаю. Что вы так смотрите? Вы думаете, что разница, в крайнем случае, невелика, но это для вас, а для меня... Вы знаете: одна лишняя капля переполняет сосуд... Так вот, я об этой капле: возьмите ее назад, потому что она превышает меру. Вы меня обвинили в подкупе. Не знаю, как вы это понимаете, но если вы думаете, что я имела умысел вас обольстить и с этою целью играла комедию, то это неправда. Не то, чтобы я неспособна была ее играть, но... это было излишнее... Я не имела нужды разыгрывать то, что родилось во мне естественно и невольно.

Верьте мне! Умоляю вас! Верьте! Какая нужда мне вас обманывать, теперь, когда я имею ваше ручательство, что мне от вас нечего опасаться? О! Мне так стыдно и совестно, что я должна вам это сказать. Но вы меня вынудили. Сергей Михайлович! Я знаю, что я недостойна вас. Я злая, дурная женщина, но все же женщина, и во внимание к этому будьте великодушны, не оскорбляйте меня вконец: скажите, что вы мне верите.

– Юлия Николаевна! – сказал я. – При всем желании я не могу отвечать утвердительно, пока не дождусь от вас полной искренности. Довольно мы с вами играли в прятки. Признайтесь...

– Тсс... – быстро шепнула Бодягина, вздрогнув всем телом. Испуганный взор ее забегал тревожно вокруг.

– Не бойтесь, нас не услышат, а, впрочем... – Я вышел, сказал два слова Ивану и, воротясь, запер дверь на ключ. – Вы отравили кузину?

Молчание. Она побелела как холст и сидела вся съежившись, опустившись, как осужденная, которая ожидает казни.

– Скажите мне одно слово: «да»?

– Нет, – прошептала она.

– Как «нет»?... Вы были у ней в сентябре?

Она молчала с минуту, как бы колеблясь, потом отвечала:

– Да.

– И вы же были потом в ноябре?

– Нет.

Я совершенно остолбенел.

«Возможно ли? – думал я. – Неужели я ошибся?» Но это смущение, этот ужас и все, что я видел, слышал от ней – как объяснить это все, если она невинна?

– Кто ж был в ноябре?

Бодягина посмотрела мне как-то странно в глаза, и опять я заметил в ней колебание.

– А вы разве не знаете? – спросила она.

Меня как ножом срезало, однако, я ответил ей храбро:

– Я знаю, Юлия Николаевна, знаю, что это были вы!

– О! Нет! – возразила она горячо. – Не говорите этого. Если вы говорите это, то вы ничего не знаете. Это ошибка, клянусь вам! Я виновата вне всякого оправдания, потому что

не скрою от вас: я знала об этом деле и, может быть, больше всех им воспользовалась, но чтобы я сама... О! Боже мой! Неужели вы обо мне это думали?

Что было отвечать? Она поймала меня, или я сам попался... Какой-то инстинкт шептал мне, что она лжет, но что в том, если я не имел возможности ее уличить? А я не имел никакой. Лицо, приезжавшее в ноябре, могло быть и прежде того, в сентябре, могло явиться в похожих условиях, и все-таки я ей не мог доказать, что это она.

– Кто же, по-вашему, это сделал? – спросил я.

Она закрыла лицо руками.

– Он, – прошептала она.

– Ваш муж?

– Да.

– Но не сам же?

– О! Нет, конечно; он нанял чужие руки.

– Чьи?... Имя?... Скажите мне имя!

– Нет, не скажу; я дала клятву.

– Ну, полноте! Клятва не помешала вам выдать мужа. Она вся вспыхнула.

– Я не думала его выдавать, – отвечала она

горячо. – Я... попалась... Я была так уверена, что вы знаете все. Сама двадцать раз собиралась об этом заговорить, чтобы между нами не было тайны, – но не решилась. Голубчик! Простите! Не проклиняйте! Я ей не желала зла... Мне жалко было ее, Бог знает, как жалко, но я малодушная женщина; меня опутали, и я не знала всего, пока все не было уже невозвратно кончено. Простите меня! Простите!

Лицо ее было в слезах. Она соскользнула к моим ногам. Все спуталось у меня в голове...

Падающий стремглав не думает о своем положении, он только чувствует, что не в силах остановиться. Так и я чувствовал. После, когда она ушла, я мог презирать себя на досуге, сколько угодно, но это уже не вело ни к чему. Я был обожжен и в крови у меня горела отравя неизлечимой страсти.

Х

У меня не было никакого плана: вчерашний вечер все спутал. Я шла наудачу, не зная и даже не спрашивая себя, что может случиться. Я чувствовала только одно, что это решительный шаг и что мне следует быть готовой на все, а между тем я не была готова, что скоро и обнаружилось. Узнав, что я пришла его остеречь, он стал расспрашивать, но что я могла ему сообщить, кроме того, что Поль заметил вчера мое смущение и сделал мне сцену, после которой я не спала от страха. Я не могла даже ясно сказать, чего я боюсь, потому что я и сама не знала. Простой вопрос: что я советую ему делать? – поставил меня в тупик, и я отвечала сдуру, что я бы советовала принять то, что ему предложено. Тогда он напомнил мне свой вчерашний жестокий ответ. Мне это было кстати, и я спросила его: за что он меня так больно обидел? Пошли объяснения... Я укоряла его, что он приписывает мне роль, которую я и не думала с ним играть, потому что я не имела нужды его обманывать. То, что он видел с моей стороны и что

он счел за комедию, было естественно и невольно. Короче, я просто призналась ему в любви и кончила тем, что не жду от него ответа, а умоляю только, чтоб он не оскорблял меня, чтоб он верил мне.

Ответ его был безжалостен. Он сказал, что прежде чем верить или не верить моим словам, он ждет от меня другого признания. Я вздрогнула; он запер двери на ключ и обратился ко мне весь бледный:

– Вы отравили кузину?

Вопрос, хотя и давно ожидаемый, упал как топор на мою голову. Я чуть не сказала «да», готова уже была сказать, но язык у меня прилип к гортани и члены охолодели. Прошло с минуту; я вдруг повернула как флюгер, и отвечала: «нет». Зачем я сказала это, я и сама не знаю. Я просто увидела перед собой отсрочку, хотя бы на миг, и ухватилась за эту отсрочку без всякой надежды на спасение, напротив, в полной уверенности, что он поймает и уличит меня, как ребенка. Но вышло иначе: вместо того, чтоб поймать меня, он попался сам. Если бы он сказал мне решительно: «Вы это сделали», я не имела бы духу отнекиваться.

Но он спросил, и это было ошибка, потому что, кто спрашивает, тот заставляет невольно думать, что он не совсем уверен в ответе... Пошел допрос.

– Вы были у нее в сентябре?

Что-то шепнуло мне, что тут он наверно меня поймает; я оробела и отвечала:

– Да.

– И в ноябре?

– Нет.

– Как нет?... Кто же был в ноябре?

– А вы разве не знаете?

Он смешался. Ясно было, что он не знает. Тогда у меня мелькнула мысль свалить главную долю вины на Поля, а за собою оставить только то, от чего я никак уже не могла отпереться. Это была неглупая мысль, и я выполнила ее с таким успехом, что он был скоро обезоружен. Тогда я упала к его ногам в слезах и с мольбой о прощении. Он протянул мне руки... Я знала силу свою, и я его любила страстно. В четвертом часу я ушла от него счастливая и торжествующая.

XI

Свидание и опять свидание. Это уж пятое. О прошлом больше и речи нет; да и какие речи? К чему?... Кто-бы она ни была и что бы ни сделала, я потерял всякое право ее обвинять. Я куплен душою и телом; я стал с нею в уровень. Скажи я ей и, пожалуй, хоть докажи, что она убийца, она расхохочется мне в глаза и ответит: «Так что же? Положим, что так, да ты-то что?... Ты мой любовник и укрыватель и не тебе меня укорять. Ты получил свою цену, ну и молчи!» Конец!... Нечего больше и думать об этом. Это не женщина, это какой-то бес сладострастия!... Это огонь, радость до боли, стыд и восторг, и позорное, одуряющее, мучительное блаженство! Праздник забвения – как она говорит. Но на празднике этом приходят в голову странные вещи. Под час, когда она уставит мне прямо в глаза свои большие, львиные, с желтым просветом зрачки, невольный ужас закрадывается в душу. Мерещится ночь, знакомая комната, в комнате столик, за столиком Оля, а против Оли – она, и у нее этот самый взгляд... И когда я по-

думаю, что это могло быть именно так, я готов ухватить ее прекрасную белую шею двумя руками и задушить.

Что ж это такое? Неужели любовь? Нет, это черт знает что! На человеческом языке нет имени для подобных чувств. Они отрицают рассудок, давят сознание, от них можно с ума сойти!

Бодягин как-то совсем опешил. Смотря на него, и в голову не придет, чтобы он был способен на что-нибудь отчаянное. А между тем она продолжает меня остерегать.

– Чего ты боишься? – спросил я вчера. – Что он отравит меня? Публично, при всех, у себя за столом?

– Ну, нет, он не спятил еще с ума.

– Так что же?... Вызовет, что ли? Но это плохое средство против огласки, если он так уж боится, что я его разоблачу. Ты понимаешь?

– Да.

– К тому же оно не похоже. Имея это в виду, он вел бы себя иначе.

– Ну, на счет этого я не знаю. Ты не суди по тому, что он тих. У него это дурная примета;

тем более что он тих только в твоём присутствии, а когда ты уйдёшь, волосы на себе дерет.

– Что же он говорит?

– Ничего особенного.

– Почему же ты знаешь, что у него на уме?

– Вот то-то и худо, что я ничего об этом не знаю. Если бы знала, я бы не трусила... Он не молчит, но я не могу от него добиться правды.

– Что же однако он говорит?

– Так... вздор.

Мы замолчали; потом я сказал:

– Что же ты хочешь, чтобы я делал?

– Не знаю. Но прошу тебя, ради Бога, будь осторожен. Мало ли что может случиться; всего не предвидешь, и надо быть готовым на всякий случай... Берегись незнакомых, чужих людей. Не пускай их к себе, когда ты один; и если тебе назначат свидание где-нибудь в неизвестном месте...

– На постоялом дворе?

Она сперва вздрогнула, потом усмехнулась горько и как-то трусливо.

– Ты шутишь, – сказала с укором, – а я серьёзно говорю. И ещё я хотела тебе сказать:

поклонись, что ты не будешь с ним драться.

– Как же я могу избежать этого?

– А так... Если заметишь, что он идет на ссору, уступи: горячка пройдет, и он одумается. Но если увидишь, что это не помогает, тогда уже, нечего делать, просто шепни ему, что ты понимаешь, чего ему нужно, но что этим путем он не схоронит концов, а совсем напротив.

XII

Прошло более месяца очаровательного, пшального счастья, которое наполняло меня до того, что я иногда по целым дням жила без страха и без заботы, не думая ни о чем, почти не чувствуя у себя на плечах головы и забывая об опасности своего положения, как пьяница забывает горе.

Поль как-то притих. Он редко теперь оставался со мною наедине, что, впрочем, не мудрено, так как наш дом во всякую пору был полон гостей, но тем не менее я заметила, что он избегает меня. Ночью я часто совсем не видела его. Он возвращался поздно, в такие часы, когда я уже давно спала, и не тревожил меня, уходил к себе. Я думала, разумеется, что он спит, но были вещи, которые делали это сомнительным.

Раз как-то шорох в спальне заставил меня проснуться. Это было глухою ночью. Я приподнялась и в полумраке ночной лампы увидела темную высокую фигуру мужа, который стоял между распахнутыми портьерами, не шевелясь, как статуя. Он был одет, что

очень меня удивило, потому что я уж давно спала.

– Поль! Это ты?... Что с тобою? – спросила я.

Он не сказал ни слова и, опустив портьеру, исчез. Это мне показалось странно. Подумав и подождав немного, я встала, надела ночное платье и вышла. В ближайших комнатах было темно; но едва я успела дойти до гостиной, как издали стал заметен свет. Он шел из его кабинета, двери которого были отворены. Невольное любопытство побудило меня подкрасться и заглянуть. Смотрю: ходит по комнате с измученным, мрачным лицом. Тогда я вошла. Услышав мои шаги, он вздрогнул и обернулся.

– Чего тебе?

– Ничего, – отвечала я, – плачу тебе визитом за визит.

Говоря это, я оглянулась кругом. Вижу, в углу, на кушетке, постель нетронутая. На столе чайный прибор, тоже не тронутый, и бутылка.

– Что это ты не спишь? – сказала я. – Так поздно! Который час?

– Не знаю. Пятый, должно быть.

– Ты воротился откуда-нибудь?

Молчание... Он посмотрел на меня и продолжал ходить.

– Чайник горяч еще; налить тебе чаю?

– Нет. Оставь! Не трогай! Не трогай, я тебе говорю!... Отойди от стола! Дальше!

– Господи! Что с тобой?

Ответа не было... Я постояла, дивясь, и ушла. Это потом повторилось еще два или три раза с весьма небольшими вариациями. Я видела его у себя впросонках: он появлялся как тень и исчезал тотчас, как только я замечала его; только я не вставала больше. Не зная, чем объяснить эти ночные визиты, я относилась к ревности. «Заходит взглянуть, не сбежала ли?» – думала я. Весьма вероятно, оно так и было, но это не объясняло всего, да этим и не ограничивалось. Лицо его с каждым днем становилось мрачнее, и все предвещало бурю.

Раз как-то, после большого ужина у Стекольщикова, он воротился пасмурный, с жалобами на головную боль. Содовая вода, которую он пил в подобных случаях, вся вышла, но я нашла у себя порошки и развела их при

нем.

– На, пей.

Смотрю, он изменился в лице.

– Чего ты?

– Так, ничего... нехорошо что-то.

– Пей же!

– Нет, не хочу... Выпей уж лучше сама, если тебе охота.

Я отказалась. Он встал, взял меня за руку и долго смотрел в глаза.

– Выпей, пожалуйста, – говорит, – «я тебя прошу.

Это меня удивило, и я стояла в недоумении, посматривая то на него, то на поднос с водой.

– Что ж, ты не хочешь?

– Нет, не хочу.

– Ну, я прошу тебя.

– Зачем? Что за идея?

Он слил и поднес мне шипящий стакан:

– Пей!

– Поль! Что с тобой?

– Пей! Пей сию минуту!

– Да полно чудить! Смотри: ведь это уж выкипело и никуда не годится.

– Ну, Бог знает. Может быть, и годится. Отведай по крайней мере.

Мы смотрели друг другу в глаза; вдруг все стало ясно.

– Трус! Дай сюда!

Я вырвала у него стакан, расплескав до половины, выпила остальное до дна, швырнула на пол и вышла с лицом, пылающим от стыда и досады.

Я думала, что это его пристыдит и тем кончится, но я ошиблась. Несколько дней спустя, отворяя бюро, я заметила, что замок испорчен.

– Маша!... Что это значит? – спрашиваю у горничной. – Кто отворял бюро?

– Барин, – говорит, – вчера приходил без вас, искали чего-то.

Это меня взбесило, и я, при первом случае, обратилась к нему с вопросом: чего ему нужно было в моем бюро? Он отвечал, что искал английский пластырь.

– К чему же ты замок изломал? Короче было бы послать в аптеку.

– Да, – говорит, – это правда. Не догадался.

– Ты слишком уж недогадлив, мой друг, –

заметила я. – Как ты не хочешь понять, что если бы я и была способна сделать в другой раз то, что я сделала раз, тебе же в угоду, и о чем я жалею теперь каждый день, то все же я не с ума сошла, чтобы рисковать своей головой без нужды. К чему мне это теперь, этот «пластырь»?

Он выслушал, не моргнув, и, судя по его рассеянному лицу, я бы подумала даже, что он не слушает, если бы он не сказал мне, минуто спустя, довольно странную вещь:

– Я видал ее вчера.

Это меня удивило до крайности.

– Каким образом?

– Так, – говорит, – лежу, смотрю, она сидит у меня на постели, в ногах.

– Какой вздор! Это ты видел во сне.

– Да; мышка, вот видишь ли, этакая; подсе- ла к сонному, подсе- ла и шепчет: «Отзовутся кошке мышкины слезки».

– Что это значит?

– Так, ничего, это она сказала.

– Но ведь это было во сне?

– Ну, да, а ты ничего не видала во сне?

– Нет.

– Ну, значит, это на мой счет.

– Ах, Поль, – говорю, – не думай об этом, а то, пожалуй, с ума сойдешь.

– А ты не думаешь?

– Думаю иногда нехотя, но к чему это теперь?

– А вот к чему: я думаю, ты думаешь, и *он думает*. Уверяю тебя, что думает и никогда не забудет, никогда не простит ни мне, ни тебе. Если ты думаешь иначе, то ты дура!

– Поль!

– И если надеешься, что это может окончиться чем-нибудь, кроме гибели, его, и моей, и твоей, то у тебя менее смысла, чем у ошалевшей кошки. И та не полезет сама в огонь, а ты лезешь! Ты сумасшедшая, на которую надо надеть смирительную рубашку и посадить на цепь.

– Ну, уж не знаю, кого из нас надо сперва посадить, – сказала я сдуру, да и сама не рада была потом. Глаза у него налились кровью, и пена выступила у рта.

– Тебя! Тебя! Тебя! – твердил он неистовым хриплым голосом. – Меня поздно теперь сажать. Меня следовало тогда посадить, когда я

связался с тобою, проклятая! Ты не женщина, а змея! У тебя нет ни чести, ни совести, ни рассудка, ни сердца, а есть только одно: похоть! Прочь, подлая! Мне мерзко смотреть на тебя! Прочь! К черту!

И он замахнулся на меня своею сильной рукой, которая гнула подковы.

Не помню уж, что было потом. Я очнулась в постели, с обвязанной головой; около меня хлопотали няня и горничная...

Этим окончился короткий праздник забвения, и наступили черные дни. Началось с того, что я пролежала недели две в жестоких страданиях от ушиба с приливом крови в голову. Припадки возобновлялись к вечеру, и я по ночам не смыкала глаз, но к утру мне становилось лучше, и я спала. В бреду и впросонках я видела у своей постели мужа, но всегда мельком и всегда с озабоченным, мрачным лицом.

От няни и горничной я слышала, что он сживал иногда по целым часам у меня в спальне, ожидая приезда доктора, и потом запирался с ним у себя. Доктором у меня был сперва тот самый старик, о котором я прежде

вам говорила, но потом, когда мне стало лучше, Поль ни с того, ни с сего отказал ему и взял другого, что очень меня удивило и огорчило. Но я боялась допрашивать о причине, потому что когда я заговаривала об этом, он ничего мне не отвечал, и по его лицу я видела, что это его раздражает. Вообще, я стала бояться его, как никогда еще не боялась, и не столько жестокий поступок его со мной, сколько слова, которые я в ту пору слышала, и страшное выражение, с которым они были сказаны, внушали мне этот страх... Он очень переменялся в последнее время: похудел, глаза от бессонницы, или, как мне иногда казалось, от коньяка, который стоял у него по ночам на столе, были красны, воспалены; но всего хуже был взгляд. После уже я узнала значение этого взгляда, а теперь только скажу, что не могла выносить, когда он был пристально устремлен на меня, и отворачивалась.

Дней через десять я немного оправилась и стала вставать с постели. Маман навещала меня каждый день, то утром, то вечером, но, кроме ее да домашних, я не видала решитель-

но никого, и это меня огорчало тем более, что за время болезни я не имела почти никаких известий о Черезове. Я знала только, и то от людей, что он приходил узнавать о моем здоровье и виделся с мужем. По обстоятельствам, это казалось мне очень опасно, и я жила в ежеминутной тревоге. Чтоб выйти самой из страха и предупредить его, я написала несколько строк и упросила няню снести самой, чтобы скорей получить ответ. Я извещала его коротко о моей болезни и частью о моих опасениях, а подробности, в том числе и причину ушиба, няня взялась передать на словах. Ответ получен был немедленно, и, таким образом, у нас завелась переписка. Она была очень немногословна: мы оба писали на скорую руку, едва доверяя бумаге необходимое и избегая напрасной потери времени, чтобы не затруднить старушку, которая уходила и приходила тайком. Дело в том, что надо мной был устроен секретный надзор, и я не могла положиться ни на кого, всего менее на мою собственную горничную. Я вынуждена была писать украдкой от нее и от мужа, но тем не менее это меня развлекало. Эта пере-

писка, мой ребенок, да маман были единственной моею утехой в течение долговременного ареста, причину которого я никак не могла взять в толк. Я была или, по крайней мере, чувствовала себя давно совсем здоровою, а мне едва позволяли выйти из спальни в другие комнаты, когда в них не было никого, что, впрочем, часто случалось, так как в отсутствие мужа люди не смели принять ни души, кроме маман да доктора, нового доктора, который ездил ко мне каждый день Бог знает зачем. Я его ненавидела за то, что не могла от него добиться ни слова путного. На все мои уверения, что я совершенно здорова, он пожимал плечами или покачивал головой, а когда я упрашивала его позволить мне выехать, чтоб хоть немножкодохнуть свежим воздухом, он отвечал мне просьбою подождать еще немножко: «У вас еще есть прилив к голове. Вам надо сперва совсем успокоиться. Надо не волноваться и избегать всею, что может хоть сколько-нибудь вас раздражать».

Это бесило меня до того, что краска бросалась в лицо, и я готова была наговорить ему

дерзостей. А он мне преравнодушнейшим образом: «Вот видите ли, сударыня, как вы еще раздражительны! Вот у вас и теперь все лицо в огне», и подобный вздор, за который, если бы не Польша, я бы, кажется, надавала ему пощечин.

– А вы думаете, что это не раздражает меня? – сказала я однажды. – Этот арест! Я живу как в тюрьме, не вижу людей, не знаю, как убить время, и должна еще слушать от вас каждый день такой вздор!

Он покраснел.

– Успокойтесь, пожалуйста, я вас прошу, – отвечал он. – Даю вам слово, что я вас дня лицевого не продержу, но что же делать? Ваш род болезни такой, что надобно избегать всяких ярких и раздражительных впечатлений. Если бы вы жили за городом, я выпустил бы вассию минуту, но здесь, в центре города, одна уже пестрота и шум больших улиц могут замедлить ваше выздоровление. А впрочем, поговорите с вашим супругом, и если вы непременно желаете, то мы посмотрим; как только я найду вас хоть несколько поспокойнее... – и прочее.

Конечно, я говорила с Полем, но Поль ссы-
лался на доктора, доктор – на Поля, и все кон-
чалось ничем; я не могла ничего понять и
злилась, плакала, тосковала, худела. Если бы
не страх, не знаю, чего бы, кажется, я не сде-
лала, но, вы понимаете, после того, что было,
я не могла не бояться. Один какой-нибудь шаг
наперекор ему, одно неосторожное слово, и
то, что случилось раз, легко могло повторить-
ся. Он мог убить меня, и ничто не говорило,
что он не сделает этого, если я выведу его из
себя. Напротив, были все признаки, что в го-
лове у него бродит то же, что и тогда, если
еще не хуже. Скажу только одно: в первый
раз, когда я вышла из спальни в свой будуар,
я нашла у себя все замки отворенными и все
перерытым. Я поняла, что он опять искал
«пластырь», и потому уж не спрашивала.

Прошло с месяц. По городу начинали хо-
дить уже толки. Маман мне жаловалась, что
ей не дают покоя с расспросами обо мне и что
она не знает, что отвечать на десятки слухов,
которые ей сообщают из третьих рук, с
усмешкой или с притворно-печальной ми-
ной. Все это выводило меня из себя. Не зная,

что делать и умирая от тоски, я писала к коротким своим приятельницам, жалуясь горько на доктора и умоляя их посетить меня, несмотря ни на какие запреты. Но письма мои перехватывали; по крайней мере я так догадываюсь из того, что я на них не получила ответа. Раз как-то, в один из ясных январских дней, когда хрусткий снег сверкает на солнце алмазами, я сидела печальная у окна, с завистью прислушиваясь, как санки, скрипя, пронеслись мимо. Вдруг терпение мое лопнуло, и я вскочила, хватя за звонок.

– Маша! Сию минуту платье, салоп, да скажи Якову, чтобы заложил Голубчика в сани; я еду кататься... Ну!... Что ж ты стоишь?... Ступай!

Смотрю: она опустила глаза и ни с места.

– Что это значит? Ты слышала? Сию минуту!

– Нельзя-с.

– Как ты смеешь?

– Не извольте сердиться, сударыня; барин меня со свету сживет, если я вас рассержу; извольте выслушать: чем же я виновата, если мне строго-настрого приказано, чтобы я вас

не выпускала на улицу?

Слова эти вывели меня совсем из себя.

– Молчи! Вздор! Не твоя вина! Я тебе приказываю. Сию минуту! – и я затопала, раскричалась. На крик прибежала няня.

– Ах, Господи! Что это? Я к няне.

– Няня, давай одеваться, а ты пошла, сию минуту вели закладывать!

Няня засуетилась.

– Ключи!... Где ключи?

– Ключи у меня, Пахомовна, да только из верхнего платья нет ни тряпки, барин все отобрал и запер к себе. На, хоть сама смотри.

Мы побежали смотреть; гляжу: в самом деле, весь зимний наряд мой исчез.

С минуту я не могла прийти в себя от удивления; потом у меня в голове помутилось. Стыд, страх, досада, бешенство. Я напустилась на Машу.

– Давай свой салоп! Я хочу на улицу! Хочу на улицу! Няня! Платок!

Маша, вся бледная, выбежала; я следом за ней, в ее комнату, вырвала у нее из рук ее салоп, шаль на голову – и вон. Мне было уж не до своих саней. Я послала швейцара на угол –

привезти что-нибудь получше; стою на подъезде, жду, вдруг слышу – летит кто-то в парных санях и прямо к подъезду. Это был Польш. Увидев меня, он выпрыгнул, ни полслова – хватить за руку и потащил за собою наверх. Вся храбрость моя исчезла при мысли, чем это может окончиться. Я ожидала допроса, сцены, Бог знает, какого ужаса; но, к моему удивлению, он молча привел меня в мою комнату, кликнул няню, шепнул ей что-то и, посмотрев на меня тревожно, исчез. Я к няне.

– Что он тебе сказал?

– Сказал: успокой, мол, ее, да как поутихнет, дай капель. Капли были миндальные, и я их терпеть не могла, потому что их запах напоминал мне мой яд. Вместо того, чтобы пить, я капала их за форточку... Но это так, к слову, а вот что: мне вдруг стало ясно, что муж серьезно считает меня больною и бережет. Это немножко меня помирило с ним, но вместе с тем мне стало ужасно странно. Что ж это такое со мной? Зачем от меня скрывают, если есть что-нибудь особенное, и к чему эти меры предосторожности, точно с ребенком, который не может сам ничего понять и кото-

рого надо удерживать хитростью, если не силой? Если бы мне объяснили, чего они так боются и почему я должна сидеть взаперти, не видя живой души, мне было бы легче терпеть и не к чему было бы прятать от меня платье... «Что ж это такое? Что они с доктором считают меня за сумасшедшую, что ли?»

При этой мысли я крепко струсила и стала припоминать, не делала ли я за последнее время каких-нибудь глупостей, по которым можно было бы подозревать, что у меня голова не в порядке? Но Нет; за исключением только того, что я в сердцах выбежала на улицу в чужом салопе, ничего не было.

Однако, это меня встревожило, и я решилась, при первом удобном случае, поговорить с маман. Маман ничего не знала о том, отчего я слегла, и мне не хотелось, да и нельзя было рассказывать ей всего. Но и того, что я могла сообщить ей, было достаточно, чтобы ее удивить. Она долго расспрашивала и сперва ничего не могла понять; но когда я, краснея, шепнула ей, что первой причиной ссоры у нас было третье лицо: *un jeune homme, beau comme le jour* [31], имя которого я не могу на-

звать, она вдруг ударила себя рукою по лбу и рассмеялась.

– О! Я понимаю, понимаю теперь! Но в таком случае, что же тут странного? *Naturellement il est jaloux et il vous fait des scenes* [32].

– Да, хорошо, маман, если бы только это. Но я же вам говорю... Вы понимаете? Вы только представьте себе... – И я стала ей пересчитывать сызнова все, что я вытерпела.

– Ну, да, это случается. Хотя, слава Богу, теперь стало редко... *Vous concever, il perd la t?te!* [33] Впрочем, это, конечно, варварство; он – Синяя Борода! Тиран! И он стоит того, чтоб ты его наказала.

– Да, хорошо, маман, это само собой, но вы подумайте, прежде, чем я успею его наказать, он замучит меня. Посмотрите, на что я стала похожа! Теряю свежесть лица, все платья стали мне широки!

– Бедняжка!... Да, это правда, ты очень переменилась. Но я не знаю, право, чего же ты хочешь?

– Маман! Ради Бога, поговорите с ним, так, будто бы от себя, и постарайтесь узнать, чего

они от меня хотят? Не век же мне тут сидеть взаперти.

Маман задумалась.

– Признаться тебе, мой друг, я его немножко боюсь. У него такой странный взгляд, когда речь коснется тебя. А впрочем, конечно, поговорю.

Дня через два она сообщила мне результат. Он был незначителен. Как я и думала, Поль сослался во всем на доктора, но я научила маман, и она сказала ему наотрез, что доктор его – дурак, который не видит бревна из-за соломинки. Держать молодую женщину взаперти из страха каких-то воображаемых раздражительных впечатлений – это безумство! Она тоскует, досадует, сохнет и прочее.

– А вы как думаете, Анна Павловна, если она себе шею свернет, лучше будет?

Маман удивилась.

– С чего он взял?

– Ну, уж на этот счет, – говорит, – извините. Вы ее видите мельком, на полчаса, а я с ней живу и знаю, что говорю. У нее приливы к голове, и от этого мысли... фантазии... На нее это вдруг может найти как намедни: выбежа-

ла из дому Бог знает в чем: взяла салоп у горничной! Не случись я по счастью тут, она бы накуролесила!

На это маман заметила, что салоп у горничной я взяла потому, что мой собственный у меня отобрали.

Он удивился, точно ему сказали новость, и сделал вид, как будто бы он тут ни при чем.

– Если это не выдумка, – сказал он, – то это горничная напутала. Я ее выгоню.

Поговорив еще немного, он обещал пригласить другого доктора, и, если я буду спокойна, взять меня с собой прокатиться.

Все это было ужасно странно. «Что он хитрит? – думала я. Или серьезно считает меня помешанною?...» Первое мне теперь казалось гораздо правдоподобнее, а между тем и это мне объясняло немного. Какая цель держать меня под ключом, если арест должен когда-нибудь кончиться?... Что это – наказание или просто предосторожность, чтобы я не видалась с Черезовым? «Конечно, – думала я, – муж знает или догадывается, что мы с ним в связи. Ну, а потом?» И страх, что он имеет умысел против Черезова, овладел снова мои-

ми мыслями. Письма мои были полны предостережений. Я даже просила его уехать куда-нибудь на короткий срок, но он отшучивался, называя это фантазиями. «Я видел, – писал он, – и вижу только одно, это что т. м. (твой муж) трусит. Но он не рехнулся еще, чтобы лезть без нужды в огонь и самому накликал на себя опасность, которая может из мнимой сделаться действительностью...» и прочее.

Вообще, он смотрел на вещи спокойнее, чем я ожидала, и хотя уверял меня в письмах, что огорчен, но это как-то не очень было заметно. Невольно мне приходила мысль, что для него игрушка, потеря которой не может серьезно его огорчить; и каждый раз, как я начинала думать об этом, я не могла удержаться от горьких слез. Мне так хотелось увидеть его хоть на минуту и умолить, чтобы он рассеял мои сомнения. Но как это сделать? Я была под арестом; малейший шаг мой был бы отрапортован немедленно моему тюремщику и мог быть причиною страшных несчастий.

XIII

Свидания наши прерваны... На днях как-то зашел, говорят: «Больна, лежит». У лакея длинное, вытянутое лицо. «А Павел Иванович?» – «Дома, только не принимает». На другой день, на третий – то же. Наконец вчера я видел его. Он очень переменился, и лицо у него прескверное; если бы он убил ее – не могло бы быть хуже. Несколько слов однако меня успокоили. На вопрос: «Что с ней?» – он отвечал:

– Ушиблась.

– Опасно?

– Нет; дурно только, что в голову, потому что у ней и так приливы. Лежит в бреду и может долго еще пролежать, если ей не дадут покоя. Ей нужен полный покой.

Затем он свернул на другое и больше не возвращался к разговору о жене. Манера его мне показалась странною. Он говорил с большим оживлением о разных вещах, до которых мне дела не было, и горячился, доказывая другие, против которых я и не думал ему возражать.

Эффект был совсем такой, как будто бы он тащил меня прочь от какого-нибудь опасного места, дорогой стараясь развлечь, чтобы я как-нибудь не уперся и не вернулся назад. Глаза его были красны, взгляд беспокоен. Я посидел с полчаса и ушел: мне было не по себе возле него.

Сегодня няня ее приплелась с запиской. Ей лучше, и она встала с постели, но ее не пускают из дому и, вероятно, она запугана, потому что не пишет всего. Няня уже на словах объяснила мне, какой у нее ушиб. У них была ссора, и он ударил ее. Животное! С наслаждением всадил бы ему пулю в лоб! Только она напрасно боится; его не хватит на это.

Сидит до сих пор под арестом, и я понять не могу, что это значит; да, кажется, и она немногим больше меня понимает, потому что из писем ее нельзя ничего заключить, кроме

того, что она запугана и упала духом. Один день ей чудится, что она сходит с ума и боится, чтобы ее совсем не заперли; другой день клянется, что это штуки его, чтобы помешать нам видаться прежде, чем он выполнит то, что задумал; а затем – старая песня, чтоб я берегся и прочее.

Няня, со своей стороны, плетет какой-то вздор, который мне надоел до того, что я перестал уж и слушать.

В последнем письме она закликает меня уехать на время куда-нибудь, но я не могу уехать. Меня удерживает на месте какое-то странное любопытство, источник которого я не могу себе объяснить. Я словно жду чего-то. Но чего ждать?

Кстати, я часто встречаю его и ее знакомых. Все они смотрят как-то таинственно, когда речь коснется Бодягиных, и если верить, не могут понять, что там такое делается. Но от Мерк я слышал, что в объяснениях нет недостатка. Как водится – сплетни. Одни говорят, что она с ума сошла, другие, что он разорился. Сама м-м Мерк смеется и уверяет, что все это пустяки. Вчера, однако, я слышал со-

всем уж со стороны, что дела его плохи, и еще, что его требуют в суд за какую-то ссору; отколотил кого-то... подробностей я не слышал.

Сегодня утром он был у меня... Вошел озабоченный.

– Здравствуй. Я к тебе на минуту.

Я спросил о жене.

– А вот я, кстати, о ней и пришел с тобою поговорить.

Это меня удивило, и я ожидал, что далее. Но он, вместо того, чтобы начать о деле, понес какую-то околесную о Стекольщикове и о дороге к уральским заводам. Я слушаю, смотрю: он с Урала махнул уже в Оренбург, из Оренбурга в Ташкент. Тогда я заметил ему, усмехаясь, что это немножко не по пути.

– А тебе не терпится?

– Да, – говорю, – не терпится узнать о здоровье твоей жены, потому что ты до сих пор не сказал об этом ни слова.

Он замолчал и поглядел на меня как-то ис-

коса. Лицо его было смято, и одна бровь приподнята выше другой.

– Ты хотел говорить о ней, – напомнил я.

– Да. Скажи, пожалуйста, ты не заметил?

– Чего?

– Так... Чего-нибудь странного.

– Нет, а что?

– Да что, дело скверное! Сходит совсем с ума.

– Ты шутишь?

Он промолчал, но взгляд, который он на меня уставил, мог убедить бы всякого, что ему не до шуток.

– Давно ли?

– Да, как теперь надо думать, давно. Я потому и спросил у тебя, не заметил ли ты чего-нибудь?

Молчание. Мы смотрели друг другу в глаза.

– А что ты такое заметил? – спросил я.

– Постой, я сейчас тебе расскажу. Но чтобы ты не подумал, что я фантазирую, я должен тебя предупредить, что вчера у нее был Д** и разрешил все сомнения.

Это меня поразило до крайности, потому что я до сих пор не верил ему. Я думал, что он

или сам спятил, или, еще вероятнее, просто лжет. Но имя, которое он мне назвал, было именем старого моего знакомого, известного специалиста по душевным болезням, и я не мог допустить, что такой человек позволил себя одурачить.

– Господи! – говорю. – Что же это с ней? С чего? Неужели от ушиба?

Бодягин махнул рукой.

– Какое! Я, впрочем, и сам сначала боялся, но Д** говорит, что ушиб – пустяки. Ушиб мог только ускорить весьма незначительно то, что и без этого не замедлило бы развиваться. И я ему верю, потому что, сказать между нами, я уже давно за ней замечал. Она заговаривалась; мало того, она вела себя в некоторых вещах как сумасшедшая. Впрочем, ты это, конечно, и сам заметил, а что не хочешь признаться, так у тебя, понятно, есть на это причины.

Это было не в бровь, а прямо в глаз. Я не знал, что сказать; молчать тоже нельзя было. Я отвечал, что вовсе не понимаю его.

– Будто бы? А это ты понимаешь, что женщина в здравом смысле не вешается на шею

первому встречному так, здорово живешь?

– Что ты хочешь сказать?

– Постой, не отнекивайся. Понятно, что ты не можешь признаться, да мне и не нужно этого. Я не виню тебя. Ты знаешь мой взгляд на этого рода вещи. *Chacun pour soi* [34]. Но ты не такой же фат, чтобы вообразить, что она влюбилась в тебя?

Я молчал. Что мог я сказать?

– Чтобы связаться с тобою так, как она связалась, и посещать тебя публично, среди дня, женщина, в ее положении, должна прежде с ума сойти. И она сошла, несомненно. Она не так давно еще схватила паршивый салоп у горничной, чтобы уйти к тебе, и я поймал ее на подъезде в этом салопе; а не дальше, как третьего дня, вхожу к ней ночью, смотрю, нянчит больного ребенка вниз головой! Это насчет поступков. А насчет того, что у ней в голове, тоже не лучше. Не знаю, кто ей натолковал о смерти Ольги, но несомненно, что это произвело на нее тяжелое впечатление. Прибавь, что она была в Москве, когда ты ехал в Р**, и встретила там тебя; потом этот глупый спор, который был у меня с тобой, и который

я имел неосторожность пересказать ей от слова до слова. Все это спуталось у ней в голове в такой кавардак, что она теперь плетет невесть что. То ей сдается, что она как-то замешана в это дело и что ты хочешь донести на нее, если она прекратит с тобой связь. Постой, не бесись, я сам знаю, что это чепуха, да что же ты хочешь от сумасшедшей? А то уверяет, хм... Слушай-ка! Уверяет, что вы с нею вместе ехали к Ольге и что она отправила ее из ревности, потому что считала ее твоею любовницею.

– Павел Иваныч! Ты лжешь! – сказал я, не вытерпев. – Хотя бы она двадцать раз сошла с ума, она не могла сочинить ничего подобного!

– А почему же нет? – отвечал он весь бледный, но с какой-то глупо-самодовольной, почти торжествующей усмешкой, словно радовался, что ему удалось меня одурачить. Еще минута, и вдруг краска прилила ему в лицо, глаза заискрились, он треснул по столу кулаком и громко, нагло захохотал.

– Ха, ха, ха! Попался! Хитрец! Кознодей!
[35] Лекок! А ну-ка, вывернись; ну-ка, скажи,

почему нет?... Почему нет, я спрашиваю? Чем это хуже того, что люди в здравом уме сочиняют? Вот на меня сочинила, что будто я тут главный виновник. А я тебя спрашиваю: почему я? Почему не ты?... Ты был как раз перед этим в Р», а я не был, и против меня никаких улик, ни строчки, ни одного свидетеля. Ну, допусти, что она виновата, была там, подсыпала; она это врет, но я говорю: допусти. Все же против меня нет улик, а против тебя есть, потому что ты был перед этим у Ольги и был с ней в связи. Она от тебя и была... того, зачем бабка была нужна, а что бабка была – я докажу.

– Бодягин! Боже мой! Бодягин! Ты спятил с ума, ты, а не Юлия Николаевна!

– Я? Ха, ха, ха, ха!... Хитер ты, голубчик, очень хитер! Да только смотри: я ли? Не ты ли? Мне что-то сдается, что ты. У тебя вон лицо какое!... И ты завираешься. Покажи-ка глаза. А! Вон оно! Вон – один зрачок больше другого! Ха, ха, ха! Спятил! Ей-богу, спятил! Вы все спятили: и Стекольщиков, и твой человек. Он сделал преглупую рожу и показал мне язык, когда я вошел. – Позови-ка его сюда, до-

просим.

Я сидел в ужасе, ожидая какой-нибудь катастрофы, как вдруг, на счастье мое, звонок. Он вздрогнул.

– Тсс. Ни гу-гу! – шепнул он, прислушиваясь и делая видимые усилия, чтоб совладать с собой. К удивлению, это скоро ему удалось. Он встал.

– Ну, – говорит, – прощай, до свидания. Да не тревожься; я пошутил. Пожалуйста, чтобы это все между нами; ты понимаешь, я не хочу огласки. Д** говорит, что она не опасна. Впрочем, он обещал прислать... Прощай.

XIV

Около этого времени малютка моя Анюта, которая уже ходила, забавно помахивая ручонками, и лепетала так мило: «Мама!» – стала прихварывать. Зубки ее мучили, и я с нею нянчилась часто по целым часам, украдкой от Поля, который не позволял мне ночью вставать. Случалось, что он ловил меня, и тогда я должна была отправляться в постель, а он брал ребенка и, несмотря на крики его, уносил к себе. Это бесило меня, и у нас с ним были по этому поводу объяснения.

– Ребенок к тебе не привык, – сказала я раз. – К чему ты берешь его на руки сам? Уж если не хочешь, чтобы я нянчила, то предоставь это няньке.

– Постой, вот я тебе сперва найду няньку, а то за тобою не углядишь. Ты уморишь девочку.

Это меня удивило.

– Как! Ты за нее боишься?

– Да, частью и за нее.

– Отчего?

– Так... Ты рассеяна; у тебя в мыслях дру-

гое. Ты давеча, помнишь, держала ее...

– Что такое? Как я держала?

– А ты не помнишь?

– Нет.

– Ну, так поди, спроси у няньки, – сказав это, он усмехнулся и вышел.

Я кликнула няньку (это была не моя, а Анютина няня)»

– Няня! Что вы на меня выдумываете?

– Я-с?

– Да, вы... Как я носила ребенка?

– Не знаю-с, я не видала.

– Не видели? А что же вы барину обо мне рассказывали?

– Сударыня, не я барину рассказывала, а барин мне. Прибежал это от вас вчера с ребенком, будит: «Ты видела?... Видела?» – «Господи Иисусе! – говорю я спросонков, – что видеть-то?» – «Видела?... Кверху ногами носит!» Я испугалась, а он грозит. «Смотри, – говорит, – если еще замечу, и ты мне не скажешь вовремя – сию минуту вон! Духу твоего не будет здесь».

Опять мне стало странно и дико. «Что ж это значит? – думала я. – Лжет он, или я в са-

мом деле спятила? Но каким образом это могло случиться? Ребенка сонного или ко сну носят на двух руках: как же возможно на двух руках держать голову вниз?...» Я пошла к Полю за объяснением, но что-то заставило меня воротиться с полпути. Я не могла выносить его взгляда.

Всю ночь Аня проплакала, и я не спала, но не смела войти к ней в детскую, потому что он был все время там, с нянькою. Он очень любил свою дочь.

На другой день поутру послан был экипаж с запискою к доктору. Я ожидала того, который лечил обыкновенно Анюту, известного детского практика, но, к моему удивлению, явился какой-то совсем другой. Поль мне представил его и назвал имя, которое мне показалось знакомо, но я не могла припомнить, где и когда я его слыхала. Это был пожилой, но бодрый с виду мужчина, с открытым и добродушным лицом, на котором, при встрече со мною, сияла приветливая улыбка. Он очень любезно просил меня показать ребенка, и мы пошли с ним в детскую. Поль вошел с нами, но, постояв недолго, исчез. Д** (имя

доктора) внимательно осмотрел Анюту, задал два-три вопроса и, продолжая расспрашивать, воротился со мной обратно в мой будуар. Мы сели. Выслушав все, что я могла ему сообщить, он успокоил меня в коротких словах насчет болезни ребенка; потом стал шутить и, вглядываясь с участием в мое лицо, сказал, что доктору иногда не нужно и видеть дитя, а стоит только взглянуть на мать, чтоб заключить без ошибки о некоторых вещах, как, например, что дитя не спит по ночам. Здоровую, сильную женщину, в несколько дней узнать нельзя, а у нервных случаются даже припадки, похожие, например, на судороги... «Впрочем, если не ошибаюсь, вы раньше были больны?» Я отвечала, что я и до сей поры на положении больной, хотя давно уже чувствую себя совершенно здоровою. Он стал подшучивать и слово за слово довел меня до того, что я не вытерпела, нажаловалась ему на мужа и на второго доктора, который сменил моего старика. Он спросил, кто был первый и почему он не продолжал? На последний вопрос я не знала, что ему отвечать, но чувство доверия, которое он мне внушал, и

долгое одиночество расшевелили во мне такую неудержимую потребность высказаться, что я, не дожидаясь дальнейших его расспросов, стала сама рассказывать и рассказала ему понемногу все, что со мной было с тех пор, как я слегла, за исключением, разумеется, только таких обстоятельств, которые он не должен был знать. Во всем остальном я была совершенно искренна и не скрыла даже догадок моих, что муж считает меня не в своем уме. Он слушал меня внимательно, то хмурясь, то усмехаясь и поощряя то шутками, то вопросами. Когда я кончила, все лицо у меня было в огне, и слезы катились градом. Он потрепал меня ободрительно, как ребенка, рукой по плечу и сказал:

– Будьте спокойны, это все пустяки. Вот я пойду, намою ему хорошенько голову, чтоб он не чудил.

Я проводила его в кабинет и оставила с Полем.

XV

Сейчас от Д**... На мой вопрос о Бодягиной он засмеялся.

– Эх она вам далась! В два дня – вот уже пятый за справками! Успокойтесь, здорова; здоровее нас с вами. Но муж у нее поврежден.

– Ну, я так и думал.

– А вы их видели?

– Видел его. И я рассказал ему коротко вчерашний случай. Д** покачал головой:

– Скверно, того и гляди, что придется его засадить.

– Вы, однако, сказали ему, что она сумасшедшая?

– Грешен, сказал... Что же мне с ним делать? Не спорить же! Только это уже было напоследок, а сперва он меня поднадул. Случай курьезный. Во вторник поутру прислал за мной экипаж с запиской: крайняя надобность, просит приехать немедленно. Час у меня был свободный, и я поехал. Вхожу к нему, смотрю, человек огорчен; запер двери. Так и так, мол, несчастье! Жена помешалась, дурит, заговаривается, хочет бежать из дому. Я слу-

шаю, вы понимаете, не вдогад. «Была больна?» «Да, – говорит, – была: ушибла темя». Ну, там, как водится, кто лечил? Он назвал, потолковали еще; потом он повел меня к ней и оставил. Стали мы с ней говорить, смотрю – ничего не заметно. Только когда я свел разговор на ее болезнь и заставил ее рассказывать, оказалось действительно, что женщина вне себя. Но затем ничего особенного, говорит связно и резоны весьма достаточные: держут здоровую взаперти, отнимают ребенка, отняли платье. Ну, разумеется, плачет, жалуется на мужа. Думал я, думал, понять ничего не могу, встал и пошел к нему. Говорю: «Кажется, вы ошиблись», – и жду это, знаете, что человек обрадуется, будет благодарен. Не тут-то было. Смотрю, вертится, расставил руки: «Как так ошибся? Не может быть!» – «Э, полноте, – Оговорю, – почему же, нет? Я двадцать лет практикую, да и то иногда случается». Он смотрит, вытаращил глаза: «Да вы говорили с нею? Расспрашивали?» – «Конечно». – «И ничего не заметил?» – «Положительно ничего». – «Доктор, вы меня удивляете!» – «Да я, -, говорю, – и сам удивляюсь». – «Помилуйте, по-

сле того, что я вам сообщил. Или вы мне не верите?» – «Извините, – говорю, – я никому не верю». – «Но факты! Факты!... Вы слышали? Я вам говорил, что она хочет меня отравить». – «Нет, вы этого не говорили». – «Как! Ну, может быть... забыл. Все равно, теперь говорю».

– «Из чего же вы заключаете это?» – «Из чего? На что вам знать, из чего? Это не ваше дело». Смотрю, скверно! Человек вне себя, вытирает белки и в лице судороги... «Эге, – думаю, – так вот оно дело-то в чем!» Ну, после этого вы понимаете, я уже знал, как с ним толковать. «Послушайте, – говорю, – пожалуйста, вы не волнуйтесь. Я вижу, вы нездоровы, и вы только хуже этим себя расстраиваете. Будьте спокойны, я у вас ничего не хочу выяснять, кроме того, что вы сами сочтете нужным мне сообщить». Это его озадачило, и он задумался. – «Делать нечего, – говорит, придется вам рассказать... Вот видите...» Ну и пошел, как это у них обыкновенно: заговор, шайка... Родственники по первой жене (вы, если не ошибаюсь, из них) напугали эту несчастную до того, что она с ума спятила и теперь заодно с ними, против него, хотят

отравить, и прочее. Я выслушал. «Если так, – говорю, – это совсем другое дело. Жаль, что вы раньше мне этого не сказали. Я бы тогда иначе с нею поговорил. Позвольте мне еще раз». Пошел к ней. «Так и так, если вы сами еще не догадываетесь, то я обязан вам сообщить...» и прочее. Барыня моя – в слезы, перепугалась до смерти. – «Что, – говорит, – мне с ним теперь делать? Он убьет меня!» Оказалось, что он уже колотил ее и что этот ушиб, от которого она захворала, – его проказы. Я успокоил ее. «Делать нечего, – говорю, – потерпите немножко. Посмотрим, как это пойдет, а на всякий случай я вам пришлю сторожа».

– И послали?

– Послал. Разумеется, я уверил его, что это для нее, и просил, чтоб он спрятал его у себя, чтоб она не видела. Человек этот там и сидит теперь у него за дверьми в уборной. Но после того, что вы мне рассказали, я очень боюсь, что этим не ограничится. Смотрите, будьте поосторожнее. Вы ведь из «заговорщиков». Лучше всего не пускайте его совсем к себе, ну, а если уж придет, то не дразните. Он может наделать бед. Если бы у меня не были руки

связаны, я бы его сейчас засадил. Да, думаю, я это и сделаю.

Вот она, Немезида! [36] Настигла!... Д** говорит, что он безнадежен, но Д** не знает еще всего. Если бы знал, он понял бы, откуда все эти страхи заговора, отравы и прочее. Все это – тени прошлого.

Кстати, насчет теней. У меня началось опять это, что было в М**. Почти каждую ночь вижу во сне, что входит кто-то и все нечаянно, иной раз знакомый, иной раз так, кто-нибудь, весь в красном или с каким-нибудь невозможным лицом... Вчера слышу: знакомый голос зовет по имени, входит Ольга и подает мне что-то... Смотрю – билет железной дороги. Еще совет уехать! Смешно! Точно как сговорились...

Надо, однако, напомнить Ивану, чтоб он не пускал Поля.

XV

Прошло с полчаса. Смотрю, он вернулся.
– Как, доктор! Вы не уехали?

– Нет, – говорит. – Я опять к вам. Мне надо с вами поговорить о вашем муже. Скажите, пожалуйста, вы не догадываетесь, что он нездоров?

Я молчала... Смутное подозрение закрадывалось мне в душу.

– Болен, – продолжал он, – и очень серьезно болен. Мря обязанность не позволяет мне скрыть от вас. Он сходит с ума.

– Как?! – вскрикнула я, всплеснув руками.

– Тсс... Ради Бога! Будьте благоразумны.

Он стал меня успокаивать, но я не слушала. Невыразимый страх напал на меня.

– Он убьет меня!... Куда я уйду от него?... – И я разревелась. Доктор был очень внимателен, взял меня за руку.

– Успокойтесь, – говорит, – черт не так черен, как мы его представляем себе. Имя не изменяет дела, а дело, как оно есть, должно быть известно вам. Вы должны были сами видеть его состояние.

– Да, – отвечала я вне себя, – видела! Он уж и так едва не убил меня!... Эта болезнь... – И я рассказала ему, как это случилось.

Он был смущен и задумался; йотом стал спрашивать, как давно и что я за ним замечала? Я рассказала ему все, что только могла рассказать, не выдавая себя, но когда он стал добиваться, какие причины, – я наотрез отвечала ему, что не знаю.

Мы говорили долго, и он признался, что он не детский доктор, а главный врач в больнице умалишенных и занимается этим делом давно. Оказалось, что Поль это знал и пригласил его для меня.

– Он уверен, что вы помешаны, и я вынужден буду покуда оставить его в этой уверенности. Что же делать? Ради его и себя придется вам несколько потерпеть, пока это не выяснится. Я не могу теперь ничего предсказать наверно, но буду у вас при первой возможности, и тогда мы посмотрим. А покуда не бойтесь; я вам пришлю сторожа: это простой солдат, но человек опытный и на которого вы можете положиться. Только вы понимаете: это секрет. Он будет там, у него, и вам не ска-

жут ни слова об этом. Вы даже его не увидите, если, Бог даст, все обойдется тихо. Помните только одно: не надо его раздражать, он вас считает сумасшедшей, и вы не спорьте, не противоречьте ему ни в чем. Делайте вид, как будто бы вы и не догадываетесь, в чем дело. Прощайте, мне надо еще повидаться с ним.

Я отпустила его, несколько успокоенная, и это длилось с грехом пополам, покуда я думала, что он у мужа, но когда няня, посланная за сведениями, вернулась с ответом, что уж уехал, весь этот ужас, который его присутствие и спокойные, уверенные слова держали на привязи, вдруг поднялся и охватил меня с новой, еще неиспытанной силой. Я вдруг припомнила эти кровью подернутые глаза и взгляд... О, этот взгляд! Я понимала теперь его значение; он был передо мною, тут, горящий немым страданием, для которого нет имени... Куда уйти? Что делать, если он вдруг войдет, посмотрит, увидит, что у меня ни кровинки в лице, увидит, что лихорадка меня колотит, и спросит: что это с тобой?... А дочь? Что я сделала? Зачем не сказала о ней моему защитнику? Анята, несчастная! Нет, я не дам ему на

руки Анюту! Не дам ни за что!

Смеркалось, и я сидела одна у себя в полумраке неосвещенной спальни... Лампадка у образа светилась невидимая из-за темной перегородки. Руки и ноги мои леденели, а голова горела, и в голове – мысли-мучительницы! О! Что за мысли! Передо мною, в темном углу, стояли бок о бок, как под венцом, два призрака: он и она. И я думала: «Вот, она отняла его у меня, и они опять пара: он сумасшедший, она отравленная!... Куда же мне-то деваться! Уйти разве к Черезову? Но я солгала Черезову; и если когда-нибудь, как-нибудь он узнает правду, он оттолкнет меня от себя с отвращением! О, Боже! Вот он, тот ад, о котором мне Черезов говорил, что он не в подвале там где-то, под театральной доской, а в душе!»

Я ничего не ела весь этот день, и если пошла в столовую, то только из послушания доктору, чтоб не тревожить мужа. Но мужа не было, и, видя его пустое место, мне стало ужасно жалко его. «Если б он не ревновал меня, – думала я, – то, может быть, с ним не случилось бы этого. Несчастный! Ему еще хуже, чем мне!»

Отведав для вида кое-чего, я ушла к себе и часа два проплакала. Потом, когда мне сказали, что он воротился, страх опять напал на меня. Я бросилась поскорее мыться и кликнула няню.

– Няня, узнай, сделай милость, нет ли кого чужого в доме? Она воротилась с ответом, что нет никого. Это меня встревожило, и я подумала: «Верно забыл».

– От доктора не было никого? – спросила я.

– От доктора там давно пришел какой-то, кто его знает, фершал, что ли. Ждет барина. Только ты, дитятко, не проболтай, что я тебе донесла. Они там шепчутся от меня. Машка твоя мне уж по секрету шепнула.

Я чувствовала, что он придет, и он пришел, посидел у меня с минуту, говорил о ребенке, о докторе, а обо мне ни слова. Я не смотрела ему в лицо, но он мне показался спокойнее. Я приписала это влиянию Д** и мысленно повторяла за ним, что черт не так черен, как мы малюем его. Ночь прошла тихо, но я до утра не могла заснуть... Воспоминания, страхи, заботы не выходили ни на минуту из головы. То я лежала, раздумывая: как

это и чем окончится? То вдруг какой-нибудь шорох у двери или за дверью заставлял меня вздрагивать и прислушиваться. Я заперлась на ключ, но знала уже по опыту, что замок – не помеха ему. Во мраке и тишине мне чудилось, что я слышу где-то далеко его шаги, и я представляла себе, как он не спит, ходит там у себя взад и вперед, как зверь в клетке, а за дверьми сидит этот, которого доктор прислал, сидит и караулит. И еще меня беспокоила странная мысль.

– Что, – думала я, – если меня обманывают, и он здоров, а я... и сторож, и все для меня? Мне это кажется невозможным, но сумасшедшим ведь всегда так кажется. Красны слова, а на деле выходит довольно странно. Меня держали два месяца взаперти и до сих пор держат, а он на свободе! И вот, когда-нибудь, в ясный весенний день, меня пригласят показаться и отвезут туда, обстригут волосы, будут капать холодную воду на темя...

Кровь у меня застывала в жилах при этой мысли, и я, спрыгнув с постели в ужасе, падала перед иконой.

Прошло несколько дней. Д** ездил к нам

по утрам аккуратно и был очень внимателен; только я замечала, что он с каждым днем становится пасмурнее и молчаливее. Что-то готовилось, или он опасался чего-то, но я не могла у него добиться ничего. На все расспросы он отвечал коротко и уклончиво: «Дурно», или «Посмотрим, что будет дальше», или «Имейте терпение: я не могу вам сказать пока ничего решительного» и прочее.

Маман, когда я сообщила ей, перепугалась страшно и перестала ездить. Не могу рассказать, как провела я эти ужасные дни. Я ходила, как тень, из спальни в детскую, из детской в свой будуар, и все ждала чего-то, прислушиваясь, вздрагивая; все мне казалось, что вот, сию минуту, случится что-нибудь нечаянное и невообразимо страшное. Черезову я написала все, но он отвечал, что знает уже об этом от Д** и чтобы я думала только о собственной безопасности, а за него не боялась. Ответ от него был получен засветло, в три часа, а вечером в этот день у нас случилась тревога. Поль воротился взбешенный чем-то, кликнул Гордея и вскинулся на него.

– Кто приходил без меня?

Тот назвал троих.

– А еще?

– Никого.

– Врешь! Ты подкуплен! Каналья! Шпион!

Бог знает, чем бы это окончилось, если бы сторож тут не вмешался с напоминанием, что доктор не приказал шуметь: Барыню, мол, встревожите.

Подробности мне рассказали после, а в ту минуту я только слышала крик и в испуге послала няню узнать, что такое, но куда та ходила, все стихло. Спустя полчаса спрашиваю: – «Что делает?» Говорят: «Ушел».

Вдруг это случилось. Ночью, часу во втором или в третьем, какой-то шум разбудил меня. Лежу, прислушиваюсь, а сердце так и стучит. Слышу далеко, за несколько комнат, шаги, беготня и возгласы, то вскрикнут, то громко зовут кого-то... Страх не позволил мне выйти из спальни, которая у меня была заперта на ключ, но я не могла лежать, встала, накинула шаль на плечи и подкралась к двери. Только успела я сделать это, как слышу: бегут, близко, ко мне, хватать за дверную ручку... Я отскочила в испуге.

– Кто там?

– Это я, барыня, отворите! Встаньте!
Встаньте скорее: беда!

Еле живая от страха, я отворила, смотрю: Маша моя, полуодетая, всклокоченная и бледная, как стена, стоит со свечою в руках и вся трясется.

– Маша!... Что ты?

– Ох, и сама не знаю... С барином что-то... Пришел весь в крови, подступу нет: рвет и мечет! Гордея чуть не убил. Воды спрашивает, да никто не смеет подать. Ах, голубушка! Жалко мне вас! Гляди-ка; вы-то как испужались!

С минуту я не могла ни слова выговорить.

– Где?... Где? – шептала я, чувствуя, что у меня колени подкашиваются.

– Там, в кабинете.

– Нет, я не то; где этот... от доктора... сторож?

– Сторож при нем. За доктором, говорит, надо послать, да никто не смеет без вас. Дворника, извините, велит тоже кликнуть, потому, говорит, один, – а тот с ножом.

– Кто с ножом?

– Да барин, матушка, барин! Совсем, как бешеный!

– Ах, Господи! Скорее беги, скажи закладывать – сию минуту, да кто-нибудь чтобы зашел тотчас, как будет готово... Я напишу записку.

Она убежала, а я опять спальню на ключ, из спальни в детскую, ищу няньку – нет няньки. Я далее, к няне моей – и няни нет. Все, подлые, убежали смотреть. Что делать? Взяла и заперла все двери на ключ... Достала перо, бумагу – писать: в глазах рябит, пальцы не слушаются. Едва нацарапала несколько слов. Мне было дурно; страшный вопрос: «откуда он пришел и что сделал?» – вертелся вихрем в моей голове.

Как рассказать вам, что дальше было? Я не видела, но Бог знает, что ужаснее: видеть такие вещи или сидеть взаперти с больным ребенком и слышать издали весь этот ад: беготню, крики, вой женщин, гром опрокинутой мебели и – громче, страшнее всего – вопль сумасшедшего! Я затыкала уши, чтобы не слышать его.

У нас было много мужской прислуги, но

все перетрусил, и только трое: сторож, Гордей да дворник оставались все время при нем. Ножик (его – складной) успели выхватить как-то врасплох, но сладить с ним не могли, а только заперли и сторожили, чтоб не ушел. Д** приехал в шестом часу и привез с собой еще двоих. Ко мне:

– Я вынужден его увезти.

– Не поздно ли вы хватились, доктор?

– Да, – говорит, – боюсь, что поздно. Но что я мог сделать? Мы не имеем права вмешиваться без явной необходимости.

После короткого объяснения он убедил меня ехать вместе.

– Теперь, – говорит, – он утих, но малейшая мера угрозы или насилия может опять вывести его из себя, и это испортит все. Остается одно: уверить его, что с вами припадок и что вас нужно переселить на время в больницу. А раз мы там, я уж найду предлог, чтобы его удержать. Не трусьте – я с вами. Оденьтесь как можно скорей, чтобы за вами не было остановки, а я пойду к нему.

Светало, когда мы выехали: я, Д** и муж – в карете, сторож на козлах; другие два – сле-

дом за нами, в санях... Лицо у мужа было ужасное, но никаких других следов происшествия я не заметила, и все обошлось без шума. Доктор распорядился так ловко, что даже мой страх и горе, которые я не могла совершенно скрыть, служили тому, чтобы развлечь несчастного. Д** несколько раз наклонился к нему и шептал что-то на ухо, украдкой, смотря и кивая на меня. Вообще, это имело вид, как будто я тут играю главную роль и все дело в том, чтобы меня успокоить. Раз, когда я закрыла лицо, чтобы утереть потихоньку слезы, Поль тронул меня за плечо. Я вздрогнула: смотрю, он наклонился ко мне и шепчет:

– Чего же ты так? Сама хотела из дому, жаловалась, что надоело сидеть, – ну, вот мы и выехали. Это прогулка, мы погостим немного у доктора, потому что он занят, не может бывать у тебя каждый день.

Я обернулась к нему.

– Да я, – говорю, – ничего.

– Ну, то-то же. Ты напрасно перепугалась. Черт знает с чего эти сумасшедшие подняли такой шум. Ничего не было: я просто убил со-

баку! Ищейка-кровослед, бестия такая предательская! Ласкаю его, а он – цап за руку!

Зубы у меня начали стучать, но в эту минуту Д** шепнул ему что-то, и он замолчал.

В больнице доктор увел его наверх, а я осталась внизу, в приемной, со смотрительницей. Прошло с полчаса, прежде чем Д** воротился.

– Будьте спокойны, – сказал он, – все обошлось как нельзя тише. Дело вот в чем: вы, конечно, догадываетесь, что он имел несчастье где-то кого-то ранить, не знаю, может быть и убить. Постарайтесь разведать, что это такое было, и для этого тотчас, как только вернетесь, пошлите дать знать в полицию. А я напишу со своей стороны. Я его спрашивал, но не добился толку. Впрочем, он понял, что ему невозможно теперь воротиться домой, потому что его там как раз арестуют. Жаль, очень жаль, что мы не успели предупредить, но что же делать? Смотрите на это как на несчастье и не вините меня. Прощайте.

Я воротилась как с похорон, даже хуже чем с похорон, потому что меня впереди ожидала еще потеря.

Не стану рассказывать вам подробно, как оправдались мои опасения. Просто я по дороге заехала к Черезову и, не чувствуя под собою лестницы, взбежала наверх. Но я не видала его и вообще немного видала. Помню: открытые двери, полицию, робкий вопрос и короткий ответ. Свет помутился в моих глазах, и меня привезли домой без чувств.

После я уже узнала, как это произошло. В первом часу он сидел и писал у себя, а его человек Иван был послан зачем-то вниз, в кафе, которое у них находилось на той же лестнице; и, как это обыкновенно делалось, оставил на время двери незапертыми. Выход на улицу был тоже еще открыт, и на лестнице – газ, светло. Должно быть, он в эту минуту вошел, потому что Иван, вернувшись наверх, застал уже дверь захлопнутую на щеколду. Думал, что барин запер, и, не имея возможности сам отворить, потому что снаружи не было ручки, начал стучать, потом звонить. Никто не отпер ему, и, не зная, что это значит, он должен был оббежать кругом, через двор, по черной лестнице. Под воротами встретил высокого господина в шинели, но не узнал его, по-

тому что было темно, а тот торопливо прошел мимо. В квартире, когда он попал туда наконец, все было тихо, но его несчастный барин лежал на полу убитый. На нем было девять ран, и из них четыре – смертельные.

Вот и все... Человек словно в воду канул, исчез не простясь, не сказав ни слова на расставанье!... Горечь этой разлуки я вам не буду описывать, потому что вы не поймете меня. Слишком много пришлось бы перебирать из прошлого, чтобы объяснить все, что тут было: всю эту обиду, жалость, все недомолвки и тайные укоризны совести, и как это все шло в разлад с другой потерей, как тесно вязалось с первым и самым тяжким моим грехом. Скажу только одно: хотя я и страстно любила его, но он не был мой друг, и я не имела права называть его своим. Он был для других, может быть, и простой человек, но для меня – какое-то высшее существо, перед которым я трепетала, как вор перед грозным судьей. Он прежде всего был Мститель, и в этом образе мстителя слились для меня впоследствии все остальные его черты. Но месть, которую он мне принес, была с его стороны неумышлен-

ная и не оставила в сердце моем ни капли злобы, потому что я знаю; и в нем не было злобы, против меня по крайней мере. Поль напрасно назвал его кровоследом. Он нас не преследовал и не хотел губить. Он только стал у нас на пути живым укором, и этого было довольно с его стороны. Все остальное мы сами сделали: сами себя опутали и сами казнили. Довольно, однако. Всего не выскажешь, да если бы и высказать, то едва ли бы это было понятно кому-нибудь. Есть муки, которые чувствуются, но для которых нет слов, потому что они не похожи на то, что заставляет нас страдать в обыкновенном порядке вещей и что получило имя.

Что дальше сказать вам об этом несчастье? Шум в городе был большой, но других последствий оно не имело, я разумею серьезных. Д** и приятели мужа уладили все это дело так, что меня никто не тревожил... С...в был так добр, взял на себя опеку.

Я ездила часто к Полю, но в первое время мне редко его удавалось видеть. Он был беспокоен, и после свиданий со мною ему становилось хуже. Д** наконец сказал мне, что я

уж давно угадывала, что нет никакой надежды. Рассудок его угасал, силы слабели. От молодца и красавца, каким я знала его еще недавно, скоро остался немой иссохший калека.

Осенью, в сентябре, все было кончено, и я похоронила его. Нужно ли говорить, что я давно простила ему все зло, которое он мне сделал, и помнила только его любовь. Она была грубая, эта любовь, но едва ли я и заслуживала другой. В ту пору, когда я с ним сошлась, и долго еще потом я была если не совсем дубина, так близко к тому. Нервы и сердце мое были дубовые. Во мне не было жалости, не было единой серьезной мысли о чем-нибудь, кроме себя, своих обид, удовольствий и выгод. Чужая скорбь была непонятна мне до тех пор, пока я сама не испила до дна чаши страдания... Первое, что смягчило мне сердце, был страх – не за себя, а за *слабое*, милое, близкое мне существо, участь которого, как мне казалось тогда, была связана неразрывно с моею. Когда у меня родилась Анюта, я первый раз узнала, что значит любовь, и стала смутно догадываться, какие муки могут выпасть на до-

лю того, кто привязался к чему-нибудь, что для него милее себя. Догадка эта, увы, не обманула меня. Не будь у меня моей малютки, я никогда бы не струсилась так, как это случилось, действительно, потому что я за себя была храбрая, скажу без хвастовства, храбрее многих из вас, мужчин. Но когда я узнала, что дело, которое я считала похороненным, легко может вынырнуть, и стала думать: как это будет, если меня, которая в ту пору еще кормила своим молоком Анюту, сошлют в рудники и что станется с бедной малюткой без матери, без отца, на руках у чужих, безжалостных, может быть, и развратных людей, тогда я струсилась как никогда еще в жизни не трусила! Только это был первый удар, а у меня была кожа жесткая. Меня надо было избить до полусмерти, чтоб я наконец опамятовалась и поняла нелицемерно, всем сердцем, всем существом, что я такое была и какую мерзость сделала!

Часть этой задачи судьба поручила Черезову; другую, по праву мужа, Поль взял на себя; третью... но вы понимаете: кому же на горе мое могла достаться третья доля, как не Аню-

те? Она одна у меня оставалась на свете, но пока эта радость была при мне, я не отчаивалась. У меня были силы, здоровье, хотя и расстроенное, но все еще неплохое, а главное – были надежды.

Все это исчезло с Анютой!... Бог знает, что такое с этим ребенком, должно быть, мое змеиное молоко: только с той самой поры, как у нее пошли зубки, я не видала уже ее здоровой. День за днем и месяц за месяцем – все хуже и хуже. Я все глаза себе выплакала смотря на девчонку, как она охала и пищала, словно больная птичка, как ножки и ручки ее, сначала такие крепкие, круглые, мало-помалу совсем исхудали и стали как плетки; как глазки потухли, личико стало бледное и печальное, и как она понемногу совсем перестала смеяться, пугалась, вздрагивала во сне, спросонок не узнавая ни няньки, ни матери! Это длилось всю осень и зиму вплоть до весны, и для всех окружающих дело давно уже было ясно, но мне и на мысль не могло прийти, чтоб это... было возможно. Мне так хотелось, чтоб это было иначе! Я так молилась, надеялась!... Нет, не могу рассказывать всего!

Помню одну бессонную ночь у ее постельки: это была не первая, и я до того выбилась из сил, что, несмотря на мучительную заботу и горе, которые грызли мне сердце, часто дремала. Доктор твердил уже третий день, что она очень плоха, и, действительно, она догорала как крохотный огонек в ночной лампадке, который дрожит и колеблется, ежеминутно готовый мелькнуть блеском и отлететь. Вместе с ней догорала и надежда в сердце моем. Но пока она не потухла еще, пока ребенок дышал, мне все не верилось, чтоб это могло случиться.

И вот я сидела над ней, присматриваясь, прислушиваясь. Услышу: дышит – и на сердце полегче, усталые веки опустятся на минуту – дремота. Кругом глубокая тишина, ночник едва светит, часы на столике возле чуть слышно стрекочут... Вдруг! Сон – не сон, смотрю сидит кто-то в ногах, у постельки женщина в белом... Она наклонила к ребенку лицо, вижу: Ольга! Но я едва узнала ее, так непохожа она была на призрак, который мучил меня три года. Лицо спокойное, ясное, на губах усмешка... Она перекрестила ребенка, и вдруг

он очутился у нее на руках... Смотрю, и Анюта моя усмехается, открыла глазенки, вся зарумянилась, ручки обвила вокруг ее шеи. Сердце мое забилося каким-то странным чувством: страх, радость и вместе с тем зависть. Вижу: она встает с ребенком – и прочь. «Куда?» – хотела я вскрикнуть, но вместо слов из груди у меня вылетел стон, и я очнулась... Гляжу: все пусто, в комнате ни души. Я наклонилась к постельке. В постельке Анюта лежала мертвая.

Р. С. Едва ли не лишнее объяснить, что этот рассказ в первоначальном виде его не был назначен для публики. Ясно, что это исповедь от лица к лицу, исповедь, занесенная на бумагу не тою, которая о себе повествует. Рукопись, вместе с другою, ее дополняющей, досталась нам в руки случайно, и мы были вынуждены сделать в ней некоторые отступления от подлинного источника, как то: переменить имена и прочее. Насчет дальнейшей судьбы главного действующего лица нам известно весьма немногое. Рассказывают, что это худая больная бледная женщина, с ран-

нею сединою в густых еще волосах и что на деньги, доставшиеся ей от мужа, устроен приют для малолетних детей, приют, из которого она почти не выходит.

ПРИМЕЧАНИЯ

Примечания

1

Подонки – осадок от какой-либо жидкости.

[^^^]

Само собой (фр.)

[^^^]

Мой дорогой (фр.)

[^^^]

4

Ландснехт (устар.) – азартная карточная игра.

[^^^]

5

Для вас ничего, сударь. Абсолютно ничего!
(фр.)

[^^^]

6

Аневризм (мед.) – ограниченное расширение кровеносного сосуда или расширение полости сердца.

[^^^]

Формы ради (лат.)

[^^^]

8

Если и не правда, то хорошо придумано (ит.)

[^^^]

9

Кондотьер (ит. наемник) – человек, готовый ради выгоды защищать любое дело.

[^^^]

Фактор (устар.) – комиссионер, исполнитель частных поручений, сводник.

[^^^]

Высший свет (фр.)

[^^^]

Послушай, Жюли (фр.)

[^^^]

Как ничтожество (фр.)

[^^^]

Милая Жюли... Бедная милая Жюли (фр.).

[^^^]

Мизерный (устар.) – жалкий, скудный, бедный.

[^^^]

Здесь: без сокращения (фр.)

[^^^]

Фетировать (устар.) – поздравлять, чествовать.

[^^^]

На войне, как на войне (фр.)

[^^^]

Речь идет о Лукреции Борджиа (1480 – 1519), представительнице знатного рода, отличавшейся замечательной красотой, умом и образованием. Она сделалась игрушкой неразборчивой политики и изменных страстей своего отца, папы Александра IV, и брата, епископа Чезаре Борджиа. Ей посвящены одна из драм В. Гюго и опера Г. Доницетти «Лукреция Борджиа». Маркиза Мария Мадлена Бренвиллье (урожд. д'Обре) известна тем, что отравила своего отца, братьев и сестер, чтобы присвоить себе их состояние, и совершила ряд других тяжких преступлений, за что была обезглавлена 16 июня 1676 г.

[^^^]

Со всей откровенностью (фр.)

[^^^]

Полицейский сыщик, герой одноименного романа французского писателя Эмиля Габорио (1832 – 1873).

[^^^]

Лучше поздно, чем никогда, дорогой мой.
(фр.).

[^^^]

Бойтесь данайцев... (лат.)

[^^^]

Не надейся; пока ты меня не убьешь, я тебя не оставлю! (итал.)

[^^^]

Т. е. отличающейся изысканными манерами, учтивой в обращении.

[^^^]

Т. е. влечение (от французского attraction,)

[^^^]

Далее процитированы строки из «Божественной комедии» Данте Алигьери.

[^^^]

Цитата из «Маленьких трагедии» А. С. Пушкина («Пир во время чумы»).

[^^^]

Идеальная страна счастливой, беззаботной жизни, прообразом которой в античной литературе явилась горная область в Греции (в центральной части Пелопоннеса).

[^^^]

Стакнуться (устар.) – заранее, тайком условиться, сговориться.

[^^^]

Молодой человек, прекрасный, как день (фр.)

[^^^]

Естественно, он ревнив, и устраивает вам сцены (фр.)

[^^^]

Понятно, он потерял голову (фр.)

[^^^]

Каждый для себя (фр.)

[^^^]

Кознодей (устар.) – тот, кто строит козны.

[^^^]

Немезида (Немесида) – в греческой мифологии богиня возмездия; синоним неизбежной кары.

[^^^]